



Луи Мортимера-Терно

**История террора
1792-1794 гг. Том
шестой**

Луи Мортимера-Терно

**История террора
1792-1794 гг. Том шестой**

«Автор»

2026

Мортимера-Терно Л.

История террора 1792-1794 гг. Том шестой / Л. Мортимера-Терно — «Автор», 2026

Шестой том труда Луи Мортимера-Терно посвящён переломному моменту Французской революции — крушению надежд и рождению государственного террора. Автор детально прослеживает ожесточённую борьбу между жирондистами и монтаньярами, падение первых и захват власти радикалами. Казнь Людовика XVI развязывает руки революционерам: учреждается Революционный трибунал, преследующий врагов без суда и следствия. На фоне внутреннего хаоса (продовольственные бунты, мятежи в Вандее и Лионе) разворачивается драма измены генерала Дюмуре, а также трагическая неудача военных экспедиций в Сардинию. Мортимер-Терно на основе уникальных архивных документов беспристрастно показывает, как идеалы свободы и равенства подменяются ненавистью, взаимным истреблением партий и диктатурой Комитета общественного спасения, открывая путь к якобинскому террору.

© Мортимера-Терно Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие к шестому тому	5
КНИГА XXVI. — КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	7
Примечания:	29
КНИГА XXVII. — ЕВРОПЕЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ	33
Примечания:	47
КНИГА XXVIII. — ВТОРЖЕНИЕ В ГОЛЛАНДИЮ	53
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Луи Мортимера-Терно

История террора 1792-1794 гг. Том шестой

Предисловие к шестому тому

Шестой том монументального труда Луи Мортимера-Терно «История террора» открывает перед читателем один из самых мрачных и решающих периодов Французской революции — эпоху крушения надежд, краха либеральных идеалов и становления системы государственного террора. Если предыдущие тома повествовали о революционном порыве, падении монархии и первых победах, то этот том с беспощадной ясностью показывает, как революция пожирает своих детей, как идеалы свободы и братства уступают место ненависти, подозрительности и взаимному истреблению политических фракций.

Центральное место в этом томе занимает фундаментальное противостояние между двумя главными силами Конвента — жирондистами и монтаньярами. Мортимер-Терно с присущей ему скрупулёзностью, основанной на анализе первоисточников, протоколов заседаний и мемуаров современников, рисует картину стремительного падения жирондистов. Они, ещё недавно бывшие лидерами революции, оказываются в меньшинстве, теряя одну позицию за другой. Ключевым моментом этого процесса становится обновление Комитета общественной безопасности, где монтаньяры, воспользовавшись тактической ошибкой своих оппонентов и атмосферой страха после убийства Лепелетье, захватывают контроль над этим важнейшим органом. Автор подчёркивает, что гибель жирондистов была не только следствием их политической близорукости, но и результатом хорошо организованного давления уличных толп, управляемых якобинцами, что стало страшным предвестником будущих событий 31 мая.

Смерть короля, описанная в самом начале тома, становится той чертой, после которой партии отбрасывают последние остатки сдержанности. Мортимер-Терно блестяще показывает, как казнь Людовика XVI развязала руки не только революционному террору, но и внешней агрессии. С этого момента война с коалицией становится священной войной, а само существование Республики — главной целью, оправдывающей любые средства. В этом контексте особое значение приобретает фигура генерала Дюмуре. Наш автор не просто рассказывает историю его измены; он проводит глубокий анализ, показывая, как амбиции и личная ненависть к Конвенту превратили блистательного победителя при Вальми и Жемаппе в предателя, готового вступить в сговор с врагами Франции. Эпизод с арестом комиссаров Конвента становится кульминацией этого падения. Мортимер-Терно, опираясь на уникальные документы из австрийских архивов, с потрясающей достоверностью воссоздаёт переговоры Дюмуре с принцем Кобургским, обнажая циничную механику его предательства.

Одновременно том раскрывает перед нами трагическую картину распада государства. Две крупнейшие проблемы — продовольственный кризис и военный хаос — автор рассматривает не просто как следствия войны, но как инструменты политической борьбы. Парижский муниципалитет, используя хлеб как рычаг давления на народ, искусственно поддерживал напряжённость, которая выливалась в бунты, грабежи и требования «твёрдой руки». В этих условиях рождается идея Революционного трибунала — орудия, которое должно было заменить стихийный уличный террор «сентябрьских дней» на легализованный государственный террор. Мортимер-Терно с особым вниманием останавливается на дебатах вокруг его создания, показывая, как оба лагеря — и жирондисты, и монтаньяры — по-разному подходят к этой идее. Жирондисты пытаются ограничить его рамками закона, а монтаньяры (во главе с Дантоном, Робеспьером и их союзниками) открыто говорят о необходимости «революционных мер», не скованных обычными формальностями. Эта борьба становится агонией законности.

Нельзя не отметить, что автор не ограничивается только парижскими событиями. Он мастерски вплетает в повествование два других фронта, где разыгрывалась трагедия революции. Первый — это гражданская война в Вандее. Мортимер-Терно, чьи либеральные взгляды не позволяют ему занять чью-либо сторону, с величайшей объективностью описывает причины, движущие крестьянами Запада. Это не просто «роялистский мятеж»; это религиозная война, вызванная насильственной дехристианизацией и преследованием священников. Автор с горечью показывает, что репрессивные меры Конвента, принятые в ответ на первые выступления, лишь разожгли пожар, превратив локальный бунт в затяжную и кровопролитную войну, навсегда оставившую незаживающую рану на теле Франции.

Второй фронт — это попытки экспорта революции и масштабные военные авантюры, такие как катастрофическая экспедиция в Сардинию. Мортимер-Терно с иронией и горькой насмешкой описывает полную некомпетентность и трусость, проявленную марсельской фалангой, и срывает покров с пропагандистских мифов. Эта неудача, как и неудачи на других театрах военных действий, становится прямым следствием всеобщего разложения армии, вызванного чехардой с назначениями, нехваткой снаряжения и, что самое важное, падением дисциплины.

Наконец, в этом томе мы наблюдаем закат парламентской демократии. Дни заседаний Конвента всё чаще похожи на балаган, где голос разума заглушается криками галерей, а ораторы правой стороны подвергаются самым диким оскорблениям и даже угрозам расправы. В этом хаосе кристаллизуются будущие лидеры якобинского террора: Робеспьер, требующий смерти для неудобных; Дантон, с его громогласным популизмом и готовностью называть себя кровопийцей; и Барер, виртуоз политической акробатики, чьи пламенные речи всегда приспособляются к обстоятельствам.

Шестой том Мортимера-Терно — это не просто история Франции 1792–1794 годов. Это универсальный трактат о том, как любая революция, лишённая моральных основ и правовых рамок, неизбежно превращается в террор. Автор показывает, как борьба за власть, прикрытая лозунгами о спасении отечества, приводит к уничтожению не только врагов, но и самых лучших, самых честных её сынов. Эта книга — бесстрашный взгляд в бездну, глубочайшее исследование природы политического безумия, актуальное во все времена.

КНИГА XXVI. — КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Обновление состава Комитета общественной безопасности. — II. Отставка Керсена и Ролана. — III. Смещённый с министерского поста, Паш избран мэром Парижа. — IV. Комитет общественной безопасности нарушает свободу личности, свободу печати, парламентскую неприкосновенность. — V. Вопрос о продовольствии. — VI. Цена на хлеб удерживается в Париже на более низком уровне, чем в департаментах. — VII. Бунт 25 февраля. Разграбление бакалейных лавок. — VIII. Преследования, предписанные против грабителей и против Марата. — IX. Финансовые затруднения.

I

Королевская власть только что была обезглавлена в лице её последнего представителя. Те, кто предал её палачу, теперь будут оспаривать друг у друга лоскутья её окровавленного одеяния и вызывать к игре силы и случая. В этой страшной партии, где десять раз в год будет решаться судьба Франции, горе побеждённым! Они заплатят головой за малейшую ошибку. Нетерпение или уныние приведут их к одинаково роковому исходу.

Сначала борьба разворачивается среди криков, воплей и проклятий публичной площади. Несколько фракций принимают в ней участие; они истребляют друг друга. Но вскоре зал Конвента становится слишком обширным театром для оставшихся в живых; борьба сосредоточивается в недрах одного или двух комитетов. Самые ожесточённые противники заседают там бок о бок; они меряют друг друга взглядами, касаются локтями, могут видеть, так сказать, игру друг друга. Самые ловкие, посредством фокуса, избавляются от самых беспечных. С этих пор речь пойдёт лишь о том, кто одержит верх из двух групп, между которыми разделяются децемвиры Комитета общественного спасения. По странной насмешке судьбы, победа останется за самыми подлыми и самыми жалкими; им выпадет высший жребий избежать гильотины и влачить долгие годы в изгнании и проскрипции сокрушительное бремя общественного презрения.

Но в ту эпоху, до которой дошёл наш рассказ, эти люди, роковым образом обречённые на участь, ожидающую игроков всякого рода — насильственную смерть или бесчестие, — ещё полны жизни, ненависти и страсти. Они помышляют лишь о новых перспективах, которые открывает перед ними смерть короля; они думают лишь о том, как обратить на пользу своим злобам происшествия, могущие возникнуть из внутренних волнений и европейских осложнений.

В тот самый момент, когда Людовик XVI принимал в башне Тампля последние утешения религии, один из его судей, Лепелетье де Сен-Фаржо, смертельно поражённый убийцей, предстал перед судом Божиим раньше праведника, которого он осудил.

Дерзость, с которой убийство было совершено в Пале-Рояле, у Февра, в час, когда толпа наполняла залы этого прославленного ресторатора; безнаказанность, которую преступник обрёл в бегстве, вероятно, облегчённом несколькими сообщниками; звание бывшего королевского гвардейца, открыто присвоенное убийцей, — всё должно было усилить впечатление, произведённое подобным событием[1].

Уже утром 21 января весть о покушении на Лепелетье становится известна всему Парижу. В зале Конвента, до открытия заседания, она служит предметом всех разговоров. Демагоги громко провозглашают Лепелетье своим и требуют, чтобы ему были возданы почести Пантеона; они с горечью напоминают, что последняя речь прославленного покойного была резко атакована несколькими ораторами правой; они дают понять полусловами, что депутаты, не голосовавшие за смерть Людовика XVI, быть может, находятся в сговоре с тем, кто хотел отомстить за него; они внушают членам Равнины, голосовавшим вместе с ними в последних

баллотировках, что все они отмечены кинжалом убийц и что спасение их — лишь в неразрывном союзе с Горой.

Верньо занимает президентское кресло в тот самый час, когда Людовик XVI восходит на эшафот. Все присутствующие думают о кровавой драме, совершающейся в нескольких шагах отсюда, но никто не упоминает о ней; единственным событием дня, кажется, является убийство Лепелетье. Едва Мор, его коллега по депутатии, заканчивает официальный рассказ, как самые яростные монтаньяры осаждают трибуну, чтобы использовать это преступление в пользу своих личных злоб. Жан-Бон-Сент-Андре доносит на Валади за то, что тот напечатал и расклеил на стенах Парижа речь, произнесённую им в защиту короля. Ровер доносит на Шамбона за то, что тот в зале Комитета общественной безопасности обнажил саблю против патриота Сент-Юрюжа. Каррье доносит на Тибо, епископа и депутата от Канталя, за то, что тот написал своим избирателям письмо, в котором осмелился сказать, что Гора состоит из злодеев. Бреар требует немедленно назначить домашние обыски; Осслен и Бурботт поддерживают это предложение.

— Да, — восклицает Барер, — пусть в течение двух суток тот же эшафот, что послужил для тирана, послужит и для его сообщников. Республика была декретирована 21 сентября, но лишь сегодня утром она упрочилась. Не дадим нашим противникам времени опомниться; примем новые меры против наёмников Кобленца; воздадим почести Пантеона Лепелетье, ибо в его лице была поражена вся нация, была осквернена национальная суверенность.

Робеспьер произносит пышный панегирик Лепелетье и охотно напоминает, что, прежде чем пасть под ударами убийцы, мученик свободы подвергся клеветам Жиронды; он пользуется этим намёком, чтобы настоятельно потребовать немедленной проверки счетов Ролана.

Петион хочет ответить Робеспьеру, но его встречают эпитетами труса и клеветника всякий раз, когда он пытается взять слово. Перед лицом ярости Горы и страха Равнины он уже не помышляет о нападении, а лишь о защите; он вызывает к опасностям отечества, призывает к союзу и согласию. Голос с крайней левой отвечает ему; этот голос — голос Дантона.

Более, чем кто-либо из его друзей с Горы, он умел скрывать свои замыслы под личиной великодушия и добиваться их успеха с ловкостью, которой его пылкая натура не позволяла бы предположить. Комитет общественной безопасности, важнейший, поскольку в его ведении находилась вся полиция Республики, уже двенадцать дней находился в руках Жиронды[2]; Гора не могла иметь ничего более неотложного, чем вырвать его у своей соперницы. Несколько раз с начала заседания демагоги пытались поставить на голосование обновление Комитета; сам Робеспьер в только что произнесённой речи коснулся этого двумя словами, но Собрание, казалось, пропустило это мимо ушей.

Дантон более ловок и более удачлив: «Граждане, — говорит он, — теперь, когда тирана больше нет, обратим всю нашу энергию, все наши волнения к войне. Будем сражаться с Европой, но реорганизуем Комитет общественной безопасности, дабы он мог быть на высоте своей миссии. Отбросим эту непрестанную систему взаимных обвинений, ибо Франция скоро не будет знать, кому ей оказывать доверие. Что до меня, я чужд всяких страстей; я заклинаю всех, кто меня знает, сказать, кровожаден ли я. Чего только я не сделал для поддержания духа мира и согласия в исполнительном совете! У меня лишь одно желание — умереть за свою страну. Я хотел бы ценой своей крови вернуть отечеству слугу, которого оно потеряло. Я завидую его смерти, я требую для него почестей Пантеона, но говорю вам: лучший способ почтить его память — это поклясться, что мы не разойдёмся, пока не дадим Республике Конституцию».

Речь эту живо аплодируют; самый близкий наперсник бывшего министра юстиции, Фабр д'Эглантин, поддерживает её практический вывод — тот, о котором Дантон лишь вскользь упомянул, но который надлежит вырвать у воодушевления Собрания. «Комитет общественной безопасности, — говорит Фабр, — состоит ныне из слишком значительного числа членов; в таком виде он ничего не может сделать. К тому же он не пользуется доверием нации». Оратор завершает свою речь афоризмом, который кажется глубоким, но пуст по смыслу: «Я знаю лишь

одного бдительного и неподкупного часового — это народ; всегда доносы народа расстраивали заговоры. Народ никогда не ошибается»[3].

Собрание, убеждённое этой демагогической фразеологией, тотчас декретирует, что Комитет общественной безопасности будет полностью обновлён и что отныне он будет состоять лишь из двенадцати членов. Тюрю, ободрённый успехом Фабра, возвращается тогда к предложению, уже сделанному Робеспьером. Он требует упразднить бюро, предназначенное для формирования общественного духа, и обязать министра внутренних дел немедленно отчитаться в средствах, предоставленных в его распоряжение для этой цели.

Второе предложение Горы проходит с не меньшей лёгкостью, чем первое. После рокового приговора, вынесенного тремя днями ранее, Жиронда понимает, что стала подозрительной для республиканцев из-за своих колебаний и отлагательных предложений, что она навсегда потеряла поддержку прежних конституционалистов, приложив руку к осуждению Людовика XVI. Она отдаётся на волю течения, не смея более сопротивляться потоку, увлекающему большинство влево. Некоторые из её корифеев, кажется, озабочены лишь одним — изгнать из недр Национального собрания Филиппа-Эгалите, особый предмет её ненависти и страхов. Но тщетно Луве напоминает Конвенту, что он торжественно обещал заняться этим вопросом тотчас после того, как решит участь короля; тщетно он несколько раз восклицает: «Изгоним Бурбонов!» Это *delenda Carthago* сотрапезника госпожи Ролан остаётся без отклика. Кажется, будто Собрание хочет отстранить всё, что прямо или косвенно могло бы вернуть его мысль к роковой драме, только что совершившейся на площади Революции. Поэтому, когда председатель Верньо объявляет, что получил протокол казни Людовика Капета, оно спешит перейти к порядку дня и прервать заседание.

Депутаты, остававшиеся с утра в зале Манежа, могли тогда сами убедиться в впечатлении, произведённом на парижское население казнью Людовика XVI. Весь день лавки были закрыты, мастерские пусты; торговки рынка, в знак почтительного сочувствия, отказались занять свои обычные места. Сам Марат признавал в своём листке, обычно столь неистовом, что 21 января Париж, казалось, присутствовал на религиозном празднике. Друг народа говорил слишком верно. Разве в тот день не свершилось мученичество невинной жертвы наших гражданских раздоров?

Уныние было всеобщим, тревога повсеместной. Каждый понимал, что Революция вступает в новую фазу, что партии, которые, казалось, согласились на временное перемирие, чтобы судить Людовика XVI, теперь на его трупе вступят в смертельный поединок. Уже утром это перемирие было нарушено монтаньярами. Они воспользовались ужасом, вызванным убийством Лепелетье, чтобы добиться принятия в принципе нескольких важных мер; вечером они властно требуют их применения.

Заседание, прерванное в четыре часа, возобновляется в шесть. Едва Верньо поднимается в кресло, как крайняя левая требует немедленно приступить к голосованию по обновлению Комитета общественной безопасности. Тщетно некоторые депутаты замечают, что по условиям декрета это назначение должно состояться лишь на следующий день. Ничто не может унять нетерпение Горы, ряды которой плотны, тогда как ряды её противников сильно поредели. «Всегда есть время спасти отечество, — говорит Шудё, — те, кто хочет отложить назначение нового комитета, — лишь заговорщики». — «Да, да!» — хором восклицают все приспешники демагогии. Луве протестует против тиранического давления, которое, кажется, хотят оказать; вопли монтаньяров становятся всё более неистовыми. Верньо вынужден поставить на голосование предложение Шудё. Оно принимается; затем декрет постановляет: 1) каждый голосующий опустит в урну список, в который впишет двенадцать имён и который будет им подписан; 2) всякий неподписанный бюллетень будет считаться недействительным.

Поимённое голосование начинается с департамента Жиронды. Верньо и Гранженёв заявляют, что, не будучи подготовлены к столь поспешным выборам, они не в состоянии импро-

визировать список. Другие члены с равной горячностью протестуют против неожиданности, жертвой которой меньшинство хочет сделать большинство. Но исступлённые с крайней левой настойчивостью добиваются того, чтобы все возражения были отклонены.

294 члена из 749, составляющих Конвент, принимают участие в голосовании[4]. Естественно, список, заранее составленный Горой, проходит целиком. Новые избранники — в большинстве своём те самые знаменитые сотрапезники банкета, на котором Виару было дозволено сделать свои разоблачения, подписавшие незаконные приказы об аресте, те самые, кого очистительное голосование 9 января вывело из состава Комитета[5].

II

Заседание следующего дня отмечено двумя происшествиями, показывающими, сколь быстрым и сколь глубоким было падение партии жирондистов.

20 января Керсен, один из депутатов правой, наиболее энергично высказывавшихся против осуждения короля, подал в отставку в письме, которое по праву можно считать одним из самых мужественных поступков той эпохи[6].

Гора потребовала, чтобы депутат, осмелившийся так бросить вызов злобам демагогии, был вызван к барьеру. Керсен является трижды в течение дня 21-го, но не может быть принят; наконец он допущен в начале заседания 22-го. Он не пытается укрыться за законом, запрещающим преследовать представителей за их мнения. Он ничего не хочет брать назад из написанного: «Да, признаюсь, — говорит он, — величайшей жертвой, какую я мог принести отечеству, было сидеть на одних скамьях с Маратом, этим человеком, который осмелился напечатать, что надобно вырезать двести пятьдесят тысяч граждан, и который с трибуны не отрёкся от этой ужасной мысли. Вы уважили в нём свободу мнений — уважайте её и во мне».

Правая требует для Керсена почестей заседания, и даже некоторые депутаты предлагают пригласить его вернуться к своим обязанностям. Но левая напоминает, что закон объявляет бесчестными и изменниками отечества должностных лиц, покидающих свой пост, и, чтобы показать, как она ценит урок, который отставник, кажется, хотел преподать, требует немедленно поставить на голосование порядок дня. Керсен удаляется, аплодируемый несколькими друзьями, освищенный Горой и трибунами[7].

Час спустя разражается другой театральный эффект, подготовленный Жирондой и от которого она ожидала величайшего впечатления. Это отставка Ролана, министра, столько раз клявшегося умереть на своём посту. «Я прихожу, — пишет он, — предложить Конвенту мои счета и мою особу; я полагаю, что исполнил свои обязанности в качестве члена Исполнительного совета, и не намерен уклоняться от ответственности за решения, в которых действительно участвовал; но заявляю, что не подпишу общего отчёта, который должен быть представлен к 1 февраля. Этот отчёт содержит части, относительно которых я никогда не мог получить разъяснений и удовлетворения, особенно в том, что касается поставок для армий и численности их состава»[8].

После этого торжественного заявления Ролан предаётся пространному панегирику собственному управлению:

«Обязанный состоять в переписке со всеми департаментами, я проявил великую деятельность, пылкое усердие, ибо и то и другое присуще моему характеру и моим принципам; преданный свободе даже под деспотизмом, слишком простой в нравах, чтобы нуждаться в деньгах, слишком старый, чтобы желать чего-либо иного, кроме славы, страстно приверженный общественному благу, которое я сделал своим кумиром, я трудился над его осуществлением с той энергией и твёрдостью, которые не страшатся никаких препятствий. Клевета обрушилась на меня; её нелепость может сравниться лишь с её дерзостью. Я всё презрел, я должен был так поступить; нет таких отвращений, преследований, даже опасностей, которых не должен был бы переносить тот, кто посвящает себя свершению добра. Его самоотверженность должна иметь пределом лишь бесполезность, в которую оно обращается, когда сам он более не внушает

доверия. Этот момент настал для меня; я обещал оставаться, пока Конвент не объявит о моей отставке, но наше политическое положение таково, что всё, способное поддерживать раздор и недоверие в Законодательном корпусе, может повлечь величайшие бедствия. Быть может, маловажно, что ко мне несправедливы, и моя гибель или гибель моей славы не была бы гибелью Государства. Всё, что может возбуждать тревоги, разжигать страсти, должно быть строго изгнано. Недостаточно, чтобы человек на посту был чист, — нужно, чтобы он не был подозреваем. Я призываю на моё управление всю строгость Конвента, я не боюсь её последствий. Я остаюсь, чтобы ждать их и претерпеть их в стенах Парижа. Я предстаю перед современниками, как и перед потомством, с моими деяниями; они говорят за меня»[9].

Правая встретила аплодисментами самые яркие места письма министра внутренних дел. Она требует его напечатания и рассылки в департаменты. «Нет, нет!» — кричит левая. «Ролан — злодей, — говорит Робеспьер-младший, — у меня в руках документы, которые это доказывают». «Он ввёл Собрание в заблуждение в деле о железном шкафе», — добавляет Тюрио. «Так пусть же его судят», — отвечает Бюзо. После получасового смятения и двух проверок, признанных сомнительными, Конвент в конце концов приказывает напечатать и разослать письмо в департаменты, но одновременно принимает отставку и временно поручает портфель министра внутренних дел министру юстиции Гара.

Жирондисты ожидали совсем иного эффекта от шага Ролана. Они полагали, что подавляющее большинство Собрания откажется лишиться услуг человека, который для них олицетворял добродетель и свободу; что оно отправит депутацию, чтобы умолять его отказаться от отставки; что по меньшей мере оно объявит, как это сделала Законодательная ассамблея несколькими месяцами ранее, что министр, удаляясь, уносит с собой сожаления нации. Ничего подобного не случилось. Пяти месяцев власти оказалось достаточно, чтобы обесценить этого старика с посредственным умом, с короткими и узкими взглядами, который доводил упрямство до нелепости, а гордость до безумия.

III

Однако несколько дней спустя члены Равнины захотели утешить Жиронду за последовательные поражения, которые их равнодушие только что заставило её потерпеть. Речь шла о том, чтобы дать преемника Верньо, чьё председательство подходило к концу. Левая выдвигала Дантона, правая — Рабо Сент-Этьена. Контраст не мог быть более резким; поведение обоих соперников в суде над королём было настолько различным, насколько это возможно. Дантон вернулся из Бельгии специально, чтобы голосовать за смерть; Рабо Сент-Этьен высказался за обращение к народу, затем за простое задержание; по этому случаю он произнёс слова, полные мужества и человечности. Из 355 голосовавших Рабо получил 179 голосов, Дантон — лишь 150.

Как только результат голосования был объявлен, Гора яростно обвинила секретарей в том, что они неправильно собрали голоса; она утверждала, что избрание недействительно, поскольку в урне оказалось лишь 355 бюллетеней. 21-го числа она без всяких угрызений совести захватила важнейший из комитетов Конвента посредством голосования, в котором приняли участие менее трёхсот членов; 24-го она хочет объявить недействительным избрание председателя, хотя новое голосование собрало на 60 голосов больше, чем предыдущее. На этот раз большинство проявляет непреклонность и тремя последовательными голосованиями отвергает требования неистовых из крайней левой[10].

Этот успех ободряет Жиронду. Она поклялась отомстить Пашу за поражение Ролана и потому удваивает свои атаки на военного министра. Паш был, надо признать, весьма уязвим. Каждый день на трибуну приносили самые очевидные доказательства его неспособности и невежества. Жалобы поступали с Севера и с Юга, от генералов и от комиссаров Конвента. Сийес только что сделал весьма учёный, но крайне непрактичный доклад об организации, которую следует дать военному министерству. Конвент посвящает несколько дней обсуждению

этого доклада и вызванных им контрпроектов. Неизменно все ораторы заявляют, что необходимо срочно положить конец анархии, царящей в существующих канцеляриях, анархии, поддерживаемой неспособностью начальника и глубокой бездарностью сотрудников, которыми он себя окружил.

Двенадцать членов уже более двух месяцев были прикомандированы к военному комитету для особого рассмотрения поведения Паша. Но доклад, который им был поручен, всё не завершался, а дела ухудшались с пугающей быстротой. Генералы писали, что их армии испытывают недостаток в продовольствии, фураже, обуви. Камюс заявляет Конвенту, что Паш, под давлением Комитета общей обороны, требовавшего от него копии приказов, переданных администрациям, ответственным за снабжение войск, был вынужден признать, что, отдавая свои распоряжения, он забыл лишь одно — включить в них бельгийскую армию, самую важную из всех.

— Паш неспособен или преступен, — восклицает Саль, — возможно, он и то и другое! Комиссия двенадцати, которой вы поручили рассмотрение всего, что его касается, предложит вам обвинительный акт, если у неё будут доказательства его преступных намерений; но уже сейчас кто усомнится в его глубокой неспособности?

Один лишь Марат в этот решающий момент выступает защитником министра. Даже Барер видит, что пора пожертвовать протезе якобинцев. Вместе с Камюсом он вносит в проект реорганизации военных канцелярий положение, которое по своему одновременно личному и неотложному характеру является самым жестоким осуждением администрации Паша.

Оно сформулировано так:

«Нынешний военный министр будет сменён. Собрание приступит завтра к составлению списка кандидатов, а послезавтра — к избранию нового министра»[11].

Якобинцы не могли молча принять отставку, столь грубо произнесённую против одного из их главных любимцев, против министра, который предоставил себя в их полное распоряжение для всех креатур, которых им угодно было назначать, для всех растрат, которые им удобно было покрывать. Уже на следующий день Общество направляет к решётке Конвента депутацию этих так называемых Защитников Республики, которым оно дало приют в своём зале, чтобы они всегда были в его распоряжении.

Речь просителей коротка, но столь же наивна, сколь и нагла:

«Защитники единой и неделимой Республики узнали, что вы постановили сменить военного министра. Граждане, Паш — республиканец, он исполнил свой долг, он поклялся умереть на своём посту, и однако вы хотите заменить его. Мы поклялись уважать ваши декреты. Мы храним молчание, но предлагаем вам постановить, что Паш сохранил общественное уважение».

Несколько членов крайней левой пытаются превратить это требование в предложение. Но поднимается почти всеобщий ропот. Тем не менее Приёр (из Марны) настаивает на напечатании петиции и её рассылке в департаменты.

— Что ж! пусть тогда напечатают одновременно, — восклицает Феро, — и адреса, в которых зафиксированы жалобы генералов и солдат на министра!

Переход к повестке дня ставится на голосование и принимается. Гора протестует против голосования, но Собрание дважды выражает свою формальную волю сохранить его. Просители вынуждены удалиться и, уходя, получают лишь аплодисменты Марата и его друзей.

На следующий день генерал Бернонвиль избран военным министром 386 голосами из 600 голосовавших. Его главный соперник, Ашиль Дюшателе, получил около 200; оба принадлежали к умеренным взглядам. Гора не осмелилась выставить кандидата. Все усилия демагогической партии были прибережены для других выборов — выборов первого магистрата столицы.

Шамбон не появлялся в Ратуше с того дня, когда, выходя с представления «Друга законов», он подвергся порицанию со стороны Генерального совета Коммуны[12]. 2 февраля он подал в отставку, мотивировав её плохим состоянием здоровья. Секции были созданы на 11-е, чтобы выбрать ему преемника. Якобинцы решили, что тот, кто был отвратительным военным министром, станет отличным мэром Парижа; они предложили Паша избирателям. Ни один серьёзный соперник не решился бросить вызов проклятиям, которые братья и друзья готовы были обрушить на смельчака, попытавшегося бы помешать их планам. Паш был избран 11 881 голосом, то есть примерно одной пятнадцатой частью избирателей, имевших право голоса.

Результат голосования был объявлен 14-го, в девять часов вечера. Час спустя Паш явился в Генеральный совет Коммуны и занял председательское кресло.

Якобинцы были отомщены: их протеже был водружён на новый пьедестал, с которого он мог с презрением взирать на окончательное и бесповоротное падение своего бывшего покровителя Ролана.

IV

Комитет общей безопасности, назначенный под влиянием Горы, немедленно приступил к работе и не замедлил проявить те тенденции, которыми были воодушевлены его члены.

Конвент по требованию Бреара поручил своему Законодательному комитету найти способ совместить возобновление пресловутых домашних обысков с уважением к собственности и личной безопасности. Задача была, по-видимому, слишком трудной, и Законодательный комитет ответил искусным умолчанием на порученную ему миссию; но Базир и его друзья, триумфально возвращённые к дискреционной власти, которую они так долго осуществляли, были не из тех, кто станет смущаться из-за таких пустяков.

Через пять дней после своего назначения, в воскресенье 27 января, они приказывают провести общую облаву в пристройках Пале-Рояля, называвшегося тогда дворцом Революции, и требуют от командующего вооружёнными силами Сантера немедленно оцепить всю территорию, чтобы обеспечить эту важную операцию общественного спасения.

Эта экспедиция длится с восьми часов вечера до четырёх часов утра и приводит к шести тысячам арестов. Но большинство заключённых почти сразу отпускают. Из столь масштабного развёртывания сил единственный результат — показать парижскому населению, что режим произвольных мер ещё не миновал, что Коммуна и новый Комитет общей безопасности готовы возобновить сцены последних дней августа 1792 года, если это может быть полезно тайным замыслам их политики[13].

Уже на следующий день Бюзо решительно обличает Комитет общей безопасности в нарушении всех законов — как тех, что закрепляют свободу печати, так и тех, что охраняют личную свободу. «Только что, — говорит он, — заключили в тюрьму Николя, почтенного журналиста, чья единственная вина в том, что он не принадлежит к определённой партии[14]. Бросают в оковы писателя, который проповедует уважение к законам и к Конвенту. Сегодня над печатными произведениями осуществляется инквизиция, во сто крат более отвратительная, чем было бы строгое применение закона против подстрекателей к убийству, который я предлагал[15]. Неужели нужно восхвалять преступление, чтобы жить на свободе?»

При этих мужественных словах на скамьях Горы поднимается бурный шум. Жюльен, Дюэм резко окликают оратора. Шум вскоре становится всеобщим. Председатель вынужден надеть шляпу. Декрет оставляет слово за Бюзо:

«Вы говорите о единении — и оскорбляете своих коллег; вы говорите о единении — и непрестанно клевете друг на друга; вы говорите о единении — а граждане смотрят друг на друга не иначе как с ужасом. Все сердца закрыты, друг боится друга; ибо сегодня каждый из-за одного слова дрожит, как бы его не отправили в Аббатство, где его ждут страшные воспоминания о 2 сентября».

Новый взрыв негодования на Горе лишь побуждает жирондистского оратора сорвать покров, под которым он до сих пор скрывал суть своей мысли: «Да, — восклицает он, — личная свобода, основа общественной свободы, более не существует с тех пор, как Комитет общей безопасности был сокращён до двенадцати членов, вследствие недостойного недоразумения, в злополучных обстоятельствах, которыми слишком хорошо сумели воспользоваться, во время вечернего заседания, предназначенного для просителей, на котором почти никто не присутствовал».

В заключение он приводит следующий факт, относящийся к аресту Николя: когда один из его сотрудников явился в Комитет общей безопасности, чтобы потребовать реестр, в котором записаны подписчики, ему ответили: «Мы оставляем ваш реестр у себя, чтобы знать ваших подписчиков — это аристократы».

— Это ложь, — отвечает Ровер, секретарь Комитета. — Ему лишь сказали, что этот реестр не нужен ему для издания газеты. — Поскольку это странное опровержение, кажется, не удовлетворяет Собрание, Ровер спешит добавить: «Этот журналист оскорбил членов Конвента; вот что я читаю в его № 72: „Разве вы не знаете, что Комитет общей безопасности был обновлён и что список членов, его составляющих, всё ещё запятнан именами Базиров и Шабо и других кровавых людей, которые в настоящий момент полновластно распоряжаются честью, имуществом и жизнью граждан; этот Комитет — Совет десяти Венеции; им достаточно сказать: колите! — и колют“».

— Это правда! — кричит один из депутатов справа. — В Аббатство наглеца, посягающего на честь Конвента! — отвечает Гора. — Вы видите, — говорит Каррье, — что Бюзо — защитник убийц.

Ровер продолжает: «Вот что этот журналист говорит об убийстве Лепелетье: „Сен-Фаржо был убит человеком, который упрекал его в том, что он голосовал за смерть Людовика XVI, хотя обещал обратное“».

Услышав обвинение против того, кого она сделала мучеником, Гора приходит в ярость; её вожаки бросают правой следующие выкрики один за другим:

Шабо: «Вот газета, которую Бюзо называет почтенной».

Базир: «Теперь можно упразднить Комитет; он осмелился сделать добро, он вымел Палей-Рояль от всех негодяев; сообщники Париса арестованы».

Колло-д'Эрбуа: «После убийства несчастного Лепелетье мы стали его семьёй; мы должны сделать то, что сделала бы она сама, мы должны преследовать тех, кто осмеливается оскорблять память этого патриота».

На предложение Колло Байёль возражает, ссылаясь на принципы: «Пусть преследуют, — говорит он, — если угодно, журналиста, но я утверждаю, что Комитет надзора вышел за пределы своей роли; он должен довольствоваться раскрытием заговоров, обнаружением конспираций, ему не подобает заключать граждан в тюрьму за индивидуальные правонарушения».

Между этими противоречивыми утверждениями большинство, кажется, колеблется; оно откладывает освобождение журналиста и, несмотря на настойчивость Бюзо и Ланжюине, сохраняет новый Комитет общей безопасности.

Три дня спустя (1 февраля) Ласурс приходит от имени Комитета предложить привлечь Николя к суду за оскорбление памяти Лепелетье де Сен-Фаржо. Но Ланжюине замечает, что не были привлечены к ответственности многие другие писатели, которые ещё резче нападали на людей, которых нация, справедливо или нет, пантеонизировала. «Это правда! Это правда!» — добавляют рядом с оратором. «Почитайте-ка листки Марата!»

Несколько ораторов, принадлежащих к различным фракциям Собрания, сменяют друг друга на трибуне и защищают права печати. По общему согласию принимается переход к повестке дня, и постановляется, что обвиняемый журналист немедленно выйдет из Аббатства[16].

Базир и его друзья едва ли чувствуют себя затронутыми косвенным порицанием, которому только что подвергся Комитет; они лишь меняют тактику. Вместо того чтобы открыто нападать на Жиронду и поддерживающих её писателей, они действуют путём инсинуаций в газетах, глухих обвинений перед подвластными им магистратами; они не отступают даже перед подложными документами. Марат предоставил свои печатные станки в распоряжение всех, кто хотел клеветать на его противников. Он проявлял крайнюю неразборчивость относительно происхождения и достоверности материалов, помещаемых в его листке. Его доверенные лица из Комитета общей безопасности передают ему письмо, проникнутое самыми ярко выраженными роялистскими настроениями. — Оно исходило от бывшего редактора «Газет де Франс» по имени Вадевил и было изъято шестью месяцами ранее у Лапорта, интенданта гражданского листа. — «Друг народа» без колебаний печатает его, сопроводив подписью Бриссо де Варвиля. Друзья депутата от Эр-и-Луара встревожены. Тот спешит в Комитет, требует показать ему документ и без труда убеждается, что имя Бриссо было добавлено чужой рукой, что имя Варвиль было подставлено вместо имени Вадевил. Он пользуется первым же случаем, чтобы пожаловаться Конвенту на странное злоупотребление его именем. «Вся наша вина в этом деле, — отвечает Базир, — состоит в том, что, читая это письмо, узнавая в нём тон, повадки, стиль интригана, нам показалось, что оно должно принадлежать Бриссо». — При этом странном признании почти во всём зале разражаются громкие ропоты. Правая снова требует обновления Комитета общей безопасности. Но Марат, который в этом случае, кажется, говорит от имени Горы, довольствуется ответом: «Нет! Комитет не будет обновлён; он нужен, чтобы следить за такими негодьями, как вы!» Никто не одёргивает наглость жалкого пасквилянта, и Конвент, полагая, что достаточно сделал для чести Бриссо, передаёт его донос в уголовный трибунал, постановив провести следствие против фальсификатора и его сообщников.

Несколько дней спустя комиссар полиции секции Французского театра пишет председателю, что, согласно следствию, начатому по приказу общественного обвинителя, против нескольких членов Собрания, в частности против Барбару, существуют серьёзные подозрения в намерении вовлечь марсельских федератов в заговор против неприкосновенности Национального собрания. И снова именно Комитет общей безопасности направил в канцелярию уголовного трибунала первые материалы следствия и тайно преследовал одного из своих самых опасных противников.

Барбару просит разрешения оправдаться немедленно. «Да, — говорит он, — в тот день, когда было постановлено, что федераты разделят с гражданами Парижа охрану Конвента[17], я обратился с речью к марсельскому батальону; я сказал ему, что, если Конвент окажется в опасности, его первейшим долгом будет окружить его и защищать. Я горжусь тем, что дал это предостережение моим соотечественникам, ибо я доподлинно знал, что против свободы этого Собрания зреет адский заговор; ибо я знал, что командир этого батальона был вовлечён в тайное сборище, где ему было сделано формальное предложение перерезать нас; ибо у меня в руках были письма, написанные из моего департамента, в которых наших волонтёров подстрекали убивать некоторых членов Конвента. Вот моё преступление, я им горжусь. Далекий от желания, чтобы это следствие было прекращено, несмотря на его вопиющую незаконность, поскольку оно было начато без вашего разрешения против члена этого Собрания, я требую, чтобы его доставили сюда. Я призываю на своё поведение ваши самые строгие расследования».

Тогда со скамей Горы поднимается член, который с тех пор, как вошёл в состав Собрания, ещё не принимал участия ни в одном обсуждении и которому лишь гораздо позже предстояло начать играть важную роль.

«Добрый гражданин, — говорит Баррас, — должен раскрывать всё, что может быть полезно Республике. Я всего лишь солдат, но буду говорить как государственный муж: я требую, чтобы нашему коллеге Гране, у которого находится копия интересной переписки между Барбару и Обществом друзей Республики в Марселе, было предложено положить имеющиеся

у него документы на стол председателя. Затем я попрошу слова, потому что мне есть что добавить по отдельным фактам».

— Так, значит, меня хотят преследовать с помощью моих писем, — отвечает Барбару. — Ах! пусть их опубликуют, пусть опубликуют все те, что я писал моим друзьям, существам, которые были мне дороги, с начала Революции. В них увидят доказательства моего патриотизма и услуг, оказанных мною моей стране. Если я виновен, я сам потребую декрета об обвинении, потому что первый долг республиканца — склонить голову перед законом.

Тюрио, Кутон, Осслен хотят защитить полицейского чиновника, выдвинутого Комитетом общей безопасности. Тальен доходит до утверждения, что в силу особого декрета о городе Париже, принятого Законодательным собранием после 10 августа, этот магистрат имел право, как делегат муниципалитета, выдать ордер на арест Барбару.

Ланжюине оспаривает это утверждение, которое, по его словам, ведёт не к чему иному, как к изменению практики предыдущих собраний и самого Конвента в аналогичных обстоятельствах. Он требует передать дело в Законодательный комитет. Эта передача поручается с предписанием представить доклад в течение двадцати четырёх часов.

Но Комитет общей безопасности был столь же искусен в погребении в своих папках или в папках других комитетов документов, которые могли его скомпрометировать, сколь и дерзок в требовании безнаказанности для тех, кто применял на практике доктрины демагогии. Так, в то время как Бриссо и Барбару тщетно добивались удовлетворения своих справедливых жалоб, Комитет сумел вырвать у Собрания два важных декрета: один — бессрочно приостанавливавший всякое судопроизводство против сентябрьских убийц, другой — предписывавший немедленное освобождение комиссаров Коммуны, отправленных в департаменты проповедовать там убийства и грабежи[18].

V

Эти последовательные триумфы якобинской партии не могли уменьшить волнение, которое ещё до смерти короля охватило столицу и которое с каждым днём всё больше разжигали газеты и клубы. Обесценивание ассигнатов, удорожание продовольствия и основных товаров, безработица в множестве отраслей, особенно тех, что питаются роскошью, поддерживали недоумование и нужду в большинстве парижских семей. Массы были тем более недовольны, чем больше им подавали надежд. Разве им не говорили и не повторяли на все лады, что общественная нищета исчезнет как по волшебству, как только голова последнего тирана французов падёт под революционным топором? Кровавый приговор был приведён в исполнение, а трудящийся класс не переставал страдать от тех же простоев и той же нищеты; более того, смерть Людовика XVI и некоторые другие обстоятельства, которые мы изложим далее, привели к тому, что Англия, Голландия и Испания присоединились к уже образовавшейся против нас коалиции. Моря должны были закрыться, и, по вполне естественному следствию, ускользавшему от понимания простого народа, товары, которые нейтралитет этих трёх держав до сих пор позволял доставлять по умеренным ценам, дорожали с поразительной быстротой.

В то время как эти причины смуты накапливались в столице, непредусмотрительные законодатели способствовали их развитию безнаказанностью, которую они обеспечивали зачинщикам мятежей, недавно вспыхнувших в нескольких департаментах центральной Франции[19]. 11 февраля Законодательный комитет предлагает декрет, предписывающий уголовному трибуналу департамента Сарта безотлагательно судить зачинщиков и подстрекателей этих восстаний. Но несколько депутатов Горы спешат выступить в защиту обвиняемых, которые, по их словам, были скорее введены в заблуждение, чем действительно виновны, и предлагают отменить все судебные производства против виновников беспорядков, имевших место до 21 января 1793 года по поводу продовольствия. Конвент, радуясь возможности представить французскому народу эту роковую дату как начало эры примирения и мира, голосует за амни-

стию; Ланжюине и Бюзо едва удаётся добиться, чтобы она не распространялась на заключённых, виновных в убийстве, смертоубийстве или поджоге.

Комментарий к новому декрету не заставляет себя ждать. Несколько часов спустя многочисленная депутация появляется у дверей зала и требует немедленно впустить её к решётке; у неё есть важные соображения по вопросу о продовольствии. Конвент, весьма занятый организацией армии, отказывается выслушать просителей и отсылает их в Комитет земледелия. Но те настаивают и передают председателю следующее письмо:

«Комиссары секций Парижа, собравшиеся вместе со своими братьями из восьмидесяти четырёх департаментов, требуют быть выслушанными безотлагательно. Голод не терпит отсрочки. Представители народа не имеют права отказываться нас выслушать; мы не покинем пределов Собрания, разве что будем удалены формальным декретом, произнесённым перед лицом народа Парижа, который весь стоит на ногах вместе с нашими братьями из департаментов.

ПЛЕЗАН ЛАУССЕ, председатель,

ЭДЛЕ, заместитель председателя,

ПЕЛЕТЬЕ, секретарь».

— Что это за граждане из департаментов, — восклицает Шамбон? — Их, может быть, и четырёх нет во всей этой депутации. Не дадим вводить себя в заблуждение подобными сказками.

Марат закликает своих коллег не останавливаться на нескольких, возможно, неуместных выражениях и дать депутации аудиенцию. По его настоянию постановляется, что она будет допущена на следующий день. Просители, разумеется, не пропускают назначенной встречи, и их оратор начинает свою речь так:

«Граждане законодатели, недостаточно провозгласить Республику, нужно ещё, чтобы народ был счастлив; нужно, чтобы у него был хлеб, ибо где нет хлеба, там нет более законов, нет свободы, нет республики...»

Остальная часть речи соответствует началу. Горько упрекнув Конвент в том, что он пове-
рил в химеру свободы хлебной торговли, автор наглого адреса добавляет:

«Вам говорили, что хороший закон о продовольствии невозможен, то есть что следует отчаяться в вашей державной мудрости. Что ж, мы приносим вам решение задачи. Это решение соответствует естественному желанию, необходимо для общественного спасения.

Постановите наказание в шесть лет кандалов в первый раз и смертную казнь при рецидиве для всякого земледельца или торговца, который продаст мешок пшеницы весом 250 фунтов дороже 25 франков. Запретите всякой администрации становиться торговцем зерном. Примите единообразную меру, одинаковую во всех частях Республики».

Едва оратор заканчивает говорить, как другой проситель восклицает напыщенным тоном:

«Граждане, как заместитель председателя комиссии по продовольствию, я прихожу от имени секций Парижа, граждан восьмидесяти четырёх департаментов...»

Это уже второй раз, когда просители выставляют странное притязание представлять не только секции Парижа, но и всю Францию. Подавляющее большинство Собрания не желает слушать дальше.

— Разве во Франции, — восклицает Луве, — существуют два конвента, два национальных представительства?

— Ни один гражданин, — говорит председатель Бреар, — не имеет права объявлять себя уполномоченным своих братьев из департаментов, если он не получил от них полномочий. Покажите ваши.

Проситель вынужден признать, что у него их нет.

Председатель продолжает: «Вы совершили серьёзную неосторожность. Конвент выслушал петицию. Он в своей мудрости взвесит, что он должен секциям Парижа, что он должен

гражданам всей Республики, он будет справедлив ко всем. Он приглашает вас к почестям заседания».

— Нет! Нет! — кричат со всех сторон. Сам Марат требует, чтобы лиц, объявивших себя облечёнными полномочиями, которых у них нет, преследовали как нарушителей общественного спокойствия.

Что же произошло со вчерашнего дня? А то, что «друг народа» заметил, что в ряды просителей затесалось некоторое число роялистских агентов, чьё присутствие меняет характер манифестации. Он спешит выйти из дела, компрометирующего его лично и якобинизм в целом. Бюзо отмечает поворот, произошедший в настроениях его обычного противника.

«Марат, — говорит он, — должен был отлично знать, что представляют собой просители, ибо он и его коллеги по парижской депутации долго беседовали с ними в зале совещаний. Они должны были потребовать у них полномочия. Но что нужно выяснить, так это то, каким образом лица, находящиеся сейчас у решётки, оказались вовлечены в шаг, столь противоречащий подлинным интересам тех, кого они якобы представляют. Да, парижане, не обманывайтесь: ваша земля ничего не производит; вас кормит наша, и, если вы остановите обращение зерна, вы погибнете от нужды. Это обращение было декретировано ради вас, и это вы требуете его отмены! Не позволяйте больше вводить себя в заблуждение в ваших секциях лицемерам в патриотизме, ибо Париж, бывший колыбелью свободы, стал бы её могилой...

А вы, граждане мои коллеги, вспомните, что недавно говорил вам Верньо: „Хлеб дорог, говорят, причина тому — в Тампле; что ж! однажды вам скажут так же: хлеб дорог, причина тому — в Национальном конвенте“. Это время настало; именно оружием, которое даёт продовольственный вопрос, хотят зарезать общественные свободы».

— Просители, — добавляет Мазюе, — не самые виновные. Даже тот, кто назвал себя уполномоченным восьмидесяти четырёх департаментов, был лишь неосторожен. Его ошибку легко объяснить: в Париже действительно существует второй Национальный конвент. Это собрание граждан, именующих себя защитниками Республики, общество, с которым секции Парижа официально сносятся посредством постановлений и комиссаров и которое претендует представлять интересы департаментов. Самое важное решение, которое следует принять, — это вызвать к решётке мэра Парижа, чтобы он дал Конвенту сведения о существовании этого общества.

— Мазюе сказал вам правду, — продолжает Дульсе де Понтекулан, — в Париже существуют два Национальных конвента. Собрание, о котором вам только что доложили, — чудовищное сообщество, лишь видимость представительства, состоящая из неизвестных людей, которые называют себя представителями департаментов, но не являются ими; ибо в департаментах есть лишь граждане, друзья законов, там нет наёмников Кобленца.

Громкими криками требуют оглашения имён, стоящих под петицией. Председатель заявляет, что оригинал документа скреплён лишь пятью подписями, хотя присутствует гораздо большее число лиц. Требуют, чтобы каждый член депутации назвал своё имя, звание и местожительство. Несколько человек, чтобы избежать допроса, делают осторожное движение к выходу; отдаётся приказ закрыть решётку. Шудьё и Ламарк, оба яростные монтаньяры, приводят смягчающие обстоятельства в пользу просителей.

«Вы признали, — говорит первый, — общество, чьими выразителями они являются, ибо вы уже допускали одну из его депутатий, вы удостоили почётным упоминанием выраженные ею патриотические чувства».

«Я вовсе не отрицаю, — добавляет другой, — опасностей, которые представляет для общественной свободы существование общества, о котором вам сообщили. Оно называет себя состоящим из представителей Республики, но это притязание извиняет и как бы узаконивает то, что администрации, введённые в заблуждение вашими решениями, сочли нужным направить в Париж граждан из департаментов для защиты Национального конвента, придав им некое

подобие характера вооружённого федеративного представительства. Таков был результат безрассудных заявлений некоторых из наших коллег об отсутствии свободы при наших обсуждениях».

Несмотря на эту отчасти агрессивную защиту, несмотря на извинения, принесённые просителем, назвавшим себя выразителем восьмидесяти четырёх департаментов, декрет постановляет его арест и отказывает в почестях заседания тем, кто его сопровождал.

VI

Этот инцидент не имел немедленных последствий. В течение нескольких дней Конвент мог с некоторым спокойствием обсуждать новую организацию исполнительной власти и выслушать доклад Кондорсе о Конституции. Но огонь тлел под пеплом. Страх перед близким голодом день ото дня распространялся среди парижского населения; с самого рассвета двери булочников осаждала голодная толпа, которая, полагая, что накануне останется без хлеба, старалась сделать запасы и тем самым способствовала усилению самого кризиса, которого боялась. Со всех сторон объявляли, что запасов булочников скоро не хватит на всё возрастающие требования. Да и могло ли быть иначе при методе, принятом Коммуной для снабжения Парижа? Чтобы доставить, как она утверждала, наименее обеспеченным жителям хлеб по умеренной цене, она через свой Комитет продовольствия скупала всю муку, появлявшуюся на рыночной площади, и перепродавала её булочникам по более низкой цене. Разница составляла 8 ливров с мешка и образовывала убыток в 12 000 ливров в день. Можно было опасаться, что этот убыток, уже огромный, ещё возрастет. В самом деле, когда стало общеизвестно, что хлеб в столице продаётся дешевле, чем в окрестных общинах, жители пригородов стали приходить за ним сюда. Эта торговля распространялась всё дальше; вскоре всякий, кто на расстоянии двадцати лье имел в распоряжении хоть какую-нибудь тележку, спешил за хлебом в Париж.

Некоторые лица скупали не только повозки, но и речные суда. От перепродажи хлеба перешли к перепродаже муки, отпускаемой городом. Некоторые булочники преувеличивали потребности своей выпечки; благодаря их попустительству значительное количество муки уходило из Парижа всеми путями, какие только могла изобрести контрабанда. Коммуна, правда, предписала Сантеру навести порядок в этой торговле, поставив сильные караулы у застав, ибо ограда, возведённая генеральными откупщиками для обеспечения взимания ныне отменённых пошлин, всё ещё существовала, но теперь она служила лишь тому, чтобы запирали жителей столицы в обширной тюрьме, все выходы которой охранялись вооружёнными секциями. Люди на постах гораздо больше занимались проверкой паспортов входящих и выходящих, задержанием всякого сколько-нибудь подозрительного лица, чем пресечением тайного вывоза.

Исключительный режим, управлявший снабжением Парижа, создавал и другую трудность — вопрос о том, кто в конечном счёте — государство или город — понесёт расход, истекающий из ежедневного убытка на муке, отпускаемой булочникам. При абсолютной власти королевская казна, в аналогичных обстоятельствах, не раз, правда, покрывала дефицит; но должна ли была эта практика старого времени воспроизводиться республиканским правительством? Мог ли Париж пользоваться столь непомерной привилегией? Мог ли Париж, совершивший Революцию, отказаться подчиниться последствиям принципа равенства, даже если его интересы будут несколько задеты, а привычки изменены? Коммуна избегала ставить вопрос с такой отчётливостью. Она соглашалась взять расход на себя, но заявляла, что в данный момент не в состоянии его покрыть. Она вотиrowала дополнительные сборы к поземельным и движимым налогам будущих лет, но требовала, чтобы государственная казна тем временем предоставляла ей авансы, необходимые для немедленной уплаты возмещений булочникам; в глубине души она оставляла за собой право никогда не возвращать эти авансы и добиться их списания при первом же мятеже.

Эта тактика разоблачается Ланжюине, когда Финансовый комитет предлагает разрешить городу Парижу произвести чрезвычайное самообложение по случаю дороговизны продоволь-

ствия. Оратор не возражает против принятия декрета самого по себе, но протестует против предоставленного городу статьёй 6 права черпать до одного миллиона из касс сборщиков общественных средств, пока дополнительные налоговые списки не будут введены во взыскание.

«С самого открытия вашей сессии, — говорит он, — я указывал вам на злоупотребление, лежащее в основе проекта декрета, представленного вашим Комитетом. С тех пор прошли недели, месяцы, а дела остались в том же состоянии. Сегодня вам предлагают сделать новые авансы городу Парижу; тем самым хотят превратить в постоянную меру метод, который несовместим со свободным правительством, с принципами равенства, с принципами единства Республики, с безопасностью Парижа и даже самого Конвента. Этот метод, я знаю, существует уже давно, потому что для поддержания деспотизма казалось необходимым поставлять парижанам хлеб дешевле, чем другим французам, и возлагать издержки этой привилегии на государственную казну. Вам говорят, что суммы, которые у вас просят авансировать, будут когда-нибудь возвращены городом Парижем; но известно, что такое аванс, сделанный городу, который не отчитывается и не вернул тех, что уже были сделаны ему из государственной казны. Париж в эту самую минуту уплатил лишь четверть своих взносов за 1791 год и ничего не уплатил по взносам 1792 года. Между тем ему дали 6 миллионов на покрытие банкротства и подлогов тех, кто выпустил столько доверительных билетов[20]. У него просят 5 миллионов для обеспечения его снабжения через торговлю. Но разве вы не знаете, что в городе, где хлеб продаётся ниже его истинной цены, не может быть свободного и естественного снабжения? Продавцы хлеба бегут с рынков такого города; покупатели из деревень и соседних городов приходят покупать по низкой цене то, что Коммуна смогла добыть лишь путём своего рода скупки и что она хочет продавать с большим убытком одним лишь парижанам. Таким образом, Франция становится данницей не только Парижа, но и его окрестностей; таким образом, Коммуна всегда держит в своих руках рычаг восстания. Пока будет длиться подобное положение вещей, Законодательный корпус и национальная свобода будут иметь лишь непрочное и постоянно угрожаемое существование... Почему департаменты должны нести этот убыток, когда они платят за хлеб вдвое дороже, чем он стоит в Париже, а рабочие получают там заработную плату наполовину и на три четверти ниже, чем в этом большом городе?.. На днях захотели поднять цену хлеба. Фунт, который в других местах стоит 7 су, был поднят с 3 су до 3 су 3 денье. Тотчас секции подняли жалобы. Да что я говорю — секции? Это сотая часть голосующих в каждой секции, ибо остальные девяносто девять сотых не смеют показаться и уступают место этой новой аристократии, которая возвышается на развалинах старой, этой аристократии, которая не является аристократией ни знания, ни добродетели...»

На эту жестокую иронию Гора отвечает своими обычными воплями; не смущаясь, энергичный бретонец предлагает декрет следующего содержания:

«Коммуне Парижа запрещается продавать свой запасной хлеб ниже текущей цены соседних рынков».

Несколько отдельных голосов поддерживают предложение Ланжюине и требуют распространить на департаменты принцип помощи, предлагаемой для одного лишь Парижа. Но великий финансист Горы Камбон решает вопрос, уверяя, что суммы, подлежащие выдаче из средств государственной казны, будут быстро возмещены посредством резко прогрессивного налога, возложенного лишь на состоятельных граждан столицы; что поэтому миллион, о котором говорит статья 6 декрета, следует рассматривать не как помощь, а в крайнем случае как аванс. Проект принимается без дальнейших прений.

Несколько дней спустя члены парижской делегации пользуются и этим голосованием, и злополучной петицией, о которой мы говорили выше, чтобы обратиться к жителям столицы с длинным письмом, в котором они одновременно проповедуют спокойствие и недоверие: спокойствие — чтобы обмануть надежды тех, кто хочет с помощью новых беспорядков довести народ до отчаяния и заставить его принять оковы и хлеб; недоверие — чтобы расстроить заго-

воры аристократов, в какие бы формы они ни рядились. Это единственное средство упрочить свободу и возродить изобилие[21].

К несчастью, спокойствие не продержалось и нескольких дней; недоверие, напротив, укоренилось в сердцах. Что же касается свободы и изобилия, то насилия на площадях должны были надолго изгнать их из нашей несчастной родины.

VII

Миллион, который мы только что видели ассигнованным Коммуне, был съеден ещё до того, как за него проголосовали. Несколько дней спустя муниципальная касса оказалась в тех же затруднениях; страхи перед неминуемым голодом возобновились; волнение, на мгновение утихшее в предместьях, на глазах вновь приобретало все свои тревожные черты.

В воскресенье 24 февраля у дверей булочников образуются группы женщин и детей. Говорят о походе в Коммуну и в Конвент. От замысла быстро переходят к исполнению; идут к Пашу просить разрешения явиться в Собрание, ходатайствовать там о снижении цен на съестное и донести на скупщиков. Новый мэр отнюдь не желал начинать свою муниципальную деятельность с появления во главе толпы женщин перед теми, кто так грубо сместил его три недели назад. Притворившись, будто не понимает, что гражданки пришли просить народных магистратов быть их проводниками и ораторами, он отвечает им, что им вовсе не нужно разрешения, чтобы сообщить Конвенту о своих жалобах и пожеланиях; чтобы прикрасить свой отказ, он добавляет несколько банальных фраз о заботливости Коммуны об интересах и страданиях парижского населения. Просительницы направляются одни к залу Манежа.

Весть о народном волнении опередила их. С самого начала заседания Лесаж (от Эр-и-Луара) предложил вызвать мэра и прокурора Коммуны к решётке для отчёта о состоянии продовольствия в Париже. В ответ на это предложение Тюрио заявляет, что Париж достаточно снабжён мукой. «Но есть вопросы, — добавляет он, — которые не следует обсуждать с трибуны. Конвент последует примеру, поданному ему в аналогичных обстоятельствах Учредительным собранием; он передаст своим комитетам заботу об устранении временных затруднений парижской администрации. Это друзья бывшего короля стараются возбудить волнения в народе Парижа и посеять там тревогу. Эту тревогу мы успокоим, этот народ мы спасём». — «Да! Да!» — кричат со всех сторон. — «Что ж! — продолжает Тюрио, поворачиваясь к правой, — раз вы тоже хотите спасти его, примите действительную меру, которую вам предложили. Авансируйте Парижу новые суммы для закупки зерна. Если вы этого не сделаете, я скажу, что ваши тревоги имеют целью лишь помогать контрреволюционерам».

Это коварное внушение вызывает ропот большинства, которое тем не менее соглашается поручить своим Комитетам земледелия, общей безопасности и финансов договориться с министром внутренних дел и муниципальными властями, чтобы представить точный и обстоятельный доклад о состоянии снабжения Парижа. Едва этот декрет принят, как объявляют о прибытии просительниц в юбках, которые часом ранее явились в Ратушу.

Собрание приказывает впустить их. Они делятся на две депутации. Первая приносит адрес следующего содержания:

«Законодатели, гражданки-прачки Парижа приходят сложить свои тревоги в священном святилище законов и справедливости. Не только все необходимые для жизни припасы стоят чрезмерно дорого; но и сырьё, служащее для стирки, поднялось до такой степени, что вскоре наименее обеспеченный класс народа будет не в состоянии добывать белое бельё, без которого он совершенно не может обойтись. Товар не отсутствует, он в изобилии; это скупка и спекуляция его удорожают. Вы заставили пасть под мечом законов голову тирана; пусть меч законов обрушится на головы общественных кровопийц. Мы требуем смертной казни для скупщиков и спекулянтов».

Вторая депутация заявляет, что послана гражданками Парижа, объединившимися в братское общество в помещении якобинцев. Она предлагает как средство снизить цены на продо-

вольствие отменить закон Законодательного собрания, объявляющий, что деньги должны рассматриваться как товар и торговля ими свободна.

На эти две петиции председатель Дюбуа-Крансе отвечает: «Конвент займётся предметом ваших забот. Но будьте уверены, что одним из средств повысить цены на товары является расстройство торговли путём беспрестанных криков о скупке. Конвент в настоящий момент занимается в своих комитетах предметом ваших требований; он приглашает вас к почестям заседания».

Гражданки-просительницы, не слишком спеша принять эти почести, выходят шумно и рассыпаются по коридорам и вестибюлям с криками: «Это насмешка — нас отсылают на послезавтра, когда наши дети просят у нас молока, мы не откладываем их до послезавтра»[22]. Естественно, их рассказы немало способствуют возбуждению зачинщиков беспорядков. Верные своей обычной тактике, те в первый день выставили вперёд женщин, оставив за собой право показаться в подходящее время. На следующий день появляется яростная статья Марата: «Когда трусливые уполномоченные народа, — говорил жалкий пасквильант, — поощряют преступление безнаказанностью, не следует удивляться, что народ, доведённый до отчаяния, сам вершит правосудие. Оставим в стороне репрессивные меры законов. Слишком очевидно, что они всегда были и всегда будут бесполезны; во всякой стране, где права народа не являются пустыми титулами, пышно засвидетельствованными в простой декларации, разграбление нескольких лавок, у дверей которых повесили бы скупщиков, положило бы конец злоупотреблениям».

Этот призыв к убийству и грабежу комментируется в нескольких секциях, особенно в секциях Оратуара и Гравилье. Там видны муниципальные чиновники с перевязями, которые своим присутствием как бы узаконивают все беспорядки, готовые разразиться; во главе их выделяется Жак Ру, священник-отступник, который вёл Людовика XVI на казнь и сам присвоил себе прозвище Марата Коммуны. Этого было более чем достаточно, чтобы поджечь порох; вскоре на каждой улице, на каждом перекрёстке образуются группы людей со злобными лицами. Слышатся крики: «Смерть скупщикам!» Вооружённая сила нигде не появляется; она, кажется, хочет оставить поле свободным для мятежа; командующий Сантер, по своему похвальному обычаю, ускользнул с самого рассвета и уехал в Версаль под предлогом организации новых батальонов жандармерии. Сначала отнимают хлеб у булочников, но эта скудная добыча не может удовлетворить главных зачинщиков. Они распространяют среди своих сообщников условленный приказ: «Приведём в чувство бакалейщиков!» Со всех сторон устремляются в квартал Ломбардов, где в ту эпоху ещё больше, чем сегодня, была сосредоточена торговля мылом, сахаром и другими товарами, чьё удорожание было предметом постоянных жалоб парижского населения. Торговцы, пытающиеся воспротивиться вторжению в их жилища и посягательству на их собственность, подвергаются самым жестоким издевательствам. Некоторым угрожают фонарём, если они осмелятся сопротивляться державному народу. Лавки захватываются; сначала товары раздают по цене, которую сами вожаки, мужчины и женщины, назначают. Сначала действуют с некоторым порядком, но последние пришедшие грубо отталкивают тех, кто уже запасся. Каждый силой и без платы берёт то, что ему нравится. Бочки с воском, мёдом, вином и водкой разбиваются, всё выливается в канаву, втаптывается в грязь. Безумные крики радости, свирепые вопли сопровождают эти сцены, достойные варварских племён.

Спустя долгое время после того, как мятеж полностью овладел местностью, парижский муниципалитет наконец, кажется, пробуждается от своей летаргии. Мэр, прокурор Коммуны и несколько полицейских администраторов отправляются на главное место беспорядков. Но их усилия не слишком энергичны и не слишком действенны; они быстро отказываются от попыток образумить тех, с кем, возможно, находятся в тайном сговоре. Они идут в Комитет общей безопасности, чтобы спросить, что им делать в нынешних обстоятельствах. Базир от имени

этого Комитета сообщает Конвенту о происходящем в Париже и предлагает декретом уполномочить муниципалитет принять все необходимые меры для восстановления порядка и в случае необходимости бить общий сбор.

Министр внутренних дел Гара заявляет, что лучший способ предотвратить возобновление беспорядков — это обеспечить снабжение столицы вплоть до будущего урожая: «Какова бы ни была жертва, которой требует Коммуна, для Республики так важно, чтобы продовольствие в Париже всегда было в изобилии, что, по моему мнению, Конвент не должен колебаться ни мгновения, чтобы сделать новые авансы. К тому же эти авансы — не дар, ибо в дополнительных сборах Коммуна предлагает весьма обширную ипотеку». — «Что ж! — восклицает Тюрио, всегда готовый поддержать интересы и извинить ошибки парижского муниципалитета, — пусть министр укажет сумму, необходимую для нужд столицы, и я заранее превращаю в предложение его просьбу».

Министр полагает, что для обеспечения продовольствия Парижа необходимо сделать городу новый аванс в три миллиона из дополнительных сборов 1792 года и в четыре миллиона из сборов 1793 года. Декрет был подготовлен заранее. Он ставится на голосование председателем Дюбуа-Крансе, который объявляет его принятым, несмотря на весьма оживлённые протесты, раздающиеся со скамей правой.

— Вы расточаете финансы государства, — восклицает Саль, — я требую рассылки декрета в восемьдесят четыре департамента. Все граждане имеют право знать, что мы делаем с общественными взносами.

— Нет, нет! — отвечает левая, — это значило бы распространять раздоры.

Чтобы по крайней мере Конвент доказал, что не намерен покровительствовать одной лишь местности, Барбару требует аванса в 2 200 000 франков для Марсея; он был бы обеспечен общинными владениями этого города и требованием на 11 миллионов, которое он имеет к государству. Это новое предложение принимается, но тотчас множество других депутатов требуют, чтобы Собрание пришло на помощь их департаментам. Их прерывает всё нарастающий шум. «Передать все предложения в комитеты!» — кричат одни. «Переход к повестке дня!» — отвечают другие[23].

— Как, переход к повестке дня? — говорит Луве. — Разве народ департаментов — не народ? Неужели здесь есть люди, которые полагают, что, коль скоро у Коммуны Парижа есть средства к пропитанию, ни один департамент в Республике не должен больше голодать?

Шамбон хочет добавить несколько слов, но его голос теряется среди шума. Не желая отвечать слишком вопиющим отказом в правосудии на предложения тех, кто требует заняться бедственным положением провинции, Собрание поручает своим комитетам в ближайшее время представить общий доклад о помощи, которую следует оказать во время продовольственного кризиса. Это, надо признать, был самый ловкий способ завершить прения.

Минуту спустя Базир оглашает окончательную редакцию декрета, уполномочивающего Коммуну бить общий сбор для восстановления общественного спокойствия. Он встречается ироническими возгласами правой. «Это теперь бесполезно, — восклицает Ланжюине, — комедия сыграна; миллионы у нас в руках, беспорядки утихнут сами собой».

Паш и муниципальные чиновники, сопровождавшие его в Комитет общей безопасности, покидают зал, лишь заручившись подлинными выписками двух декретов, которые их друзья Базир и Тюрио провели через Собрание. Они поспешно возвращаются в Ратушу, где Генеральный совет заседает непрерывно. Одновременно с ними туда прибывают делегаты различных секций, сообщающие, что вооружённая сила собирается лишь с величайшим трудом и что в лавках бакалейщиков продолжают грабить. «Тем лучше!» — кричат трибуны после каждого донесения. Мэр, вновь занявший кресло, довольствуется тем, что призывает дерзких крикунов к молчанию и проводит через Совет адрес, проповедующий гражданам Парижа спокойствие и согласие.

В эту минуту появляется Жак Ру, который с утра разжигал мятеж в секции Гравилье и руководил произвольными таксами, то есть грабежом лавок квартала.

Один из членов мужественного меньшинства, ещё сохранявшегося в Генеральном совете Коммуны, Кювилье-Флёри, упрекает его в отвратительном поведении и требует, чтобы этот муниципальный чиновник объяснил, почему он не был на своём посту в столь критический момент. Жак Ру не боится признать свои дела и поступки за день; он даже гордится тем, что таким образом применил на практике правила друга народа, своего друга и образца[24].

Предложение Кювилье-Флёри, если бы ему дали ход, могло привести к рассмотрению поведения самого муниципалитета. Совет уже подвергся резким упрекам со стороны нескольких секций за свою небрежность и апатию. Он ни за что не хочет допустить постановки столь раздражающего вопроса; он спешит перейти к повестке дня и разойтись, ибо Сантер, наконец вернувшийся из Версаля, объявляет, что спокойствие почти восстановлено и ночью опасаться нечего.

VIII

На следующее утро, как после всякого мятежа, вооружённая сила оказывается в полном составе. Многочисленные патрули движутся по всем кварталам; Сантер и его штаб, кажется, своим запоздалым усердием хотят заставить простить своё бездействие накануне. Едва открывается заседание Конвента, как делегаты различных секций просят допустить их к решётке. Они обличают преступную беспечность парижского муниципалитета, который дождался, пока беспорядок достиг крайней степени, чтобы встать на пути потока. Они протестуют против насилий, театром которых накануне был Париж и которые, если их не осудить, могли бы в глазах департаментов выставить жителей столицы сторонниками кражи и разбоя, подстрекателями анархии и беспорядка.

Барер, который в тот день чувствовал необходимость угодить умеренной партии, устремляется на трибуну. Тщетно левая кричит: «Нет, никаких прений, передать петицию в Комитет общей безопасности!» Барер настаивает на предоставлении слова; оно закрепляется за ним декретом.

«Я заявляю, — говорит он, — что, пока я буду представителем народа, я буду непоколебимо вести войну со всеми, кто нарушает собственность, со всеми, кто ставит грабёж и воровство на место общественной морали и прикрывает преступление покрывалом или, вернее, маской патриотизма. Граждане, вы хотите основать республику; добейтесь уважения к собственности — или вернёмся в леса. Мы совершаем революцию свободных людей, а не разбойников. Чем больше мы находимся в революции, тем более мы должны бросить среди этой политической бури два якоря, удерживающие корабль государства, — якорь собственности и якорь общественной морали. Вчера начали с хладнокровного нарушения собственности, которой роскошь и, быть может, торговая алчность придали высокую цену. Вчера взяли колониальные товары, завтра возьмут собственность более необходимую. Вскоре будут похищены блага более драгоценные, ибо все виды собственности связаны между собой; это цепь, у которой законодатель не должен позволять насилию, захвату или преступлению разрывать ни одного звена... Если вы допустите посягательство на собственность и безопасность личности, ваша роль окончена, ваше распадение неизбежно; гражданские законы бесполезны, уголовные законы — смешная игра, а политическая свобода — лишь роман».

После этого предисловия, приносящего ему аплодисменты правой, Барер напоминает, что беспорядки начались в десять часов утра, а общественная сила пришла в движение лишь в пять часов вечера; он резко упрекает власти Парижа в непредусмотрительности и бездействии, а командующего — в отсутствии; поведение тем более непростительное, что уже несколько дней беспорядки были предсказаны и как бы организованы в газетах. «Прочтите „Республиканец Франции“ от 23 февраля, — восклицает он, — и скажите мне, можно ли без негодования читать отчёт о заседании Генерального совета Коммуны. Обратитесь к речам, произнесённым

на этом заседании, и скажите мне, таковы ли люди, которые уважают национальное представительство, которые искренне желают общественного порядка[25]. Да, эти беспорядки были объявлены, и, если бы я захотел осквернить свои уста словами одного жестокого и безумного журналиста, слишком известного, чтобы я захотел его назвать...» Барер, удивлённый собственной дерзостью, останавливается и не произносит имени Марата; он переходит к банальному опровержению теорий аграрного закона и в заключение требует, чтобы Комитет общей безопасности был обязан уже на следующий день отчитаться о мерах, принятых для прекращения беспорядков в Париже и для обнаружения их зачинщиков.

Саль настаивает на прочтении статьи, на которую предыдущий оратор лишь намекнул. Это чтение встречается почти единодушными криками негодования. Со всех сторон требуют декрета об обвинении против Марата. Тот бросается на трибуну. «Вполне естественно, — говорит он своим самым пронзительным голосом, — что преступная фракция, что орда, враждебная свободе...» При этом начале в подавляющем большинстве Собрания разражаются ропоты; «друг народа» повторяет свою фразу, указывая вызывающим жестом на своих противников справа. «Да, — добавляет он, — истина пугает их, но её слышат вопреки их крикам; да, вполне естественно, что эта орда, которая составила заговор, чтобы спасти тирана, которая хотела призвать гражданскую войну в Республику, не видя для себя спасения иначе как в контрреволюции, хочет теперь декретировать мне обвинение за то, что я воспользовался свободой мнений и предложил единственное средство, способное спасти народ при безмолвии законов...»

— Нужно ли ещё что-нибудь? На голосование декрет об обвинении! — восклицают несколько депутатов.

— Народные движения, произошедшие вчера, — продолжает Марат, — дело рук этой преступной фракции и её агентов. Это эмиссары Ролана приходили в секции разжигать беспорядки, и за то, что в негодовании сердца я сказал, что нужно разграбить лавки скупщиков и повесить их у их дверей, единственное средство спасти народ, — у меня требуют декрета об обвинении!

На эту новую апологию грабежа и убийства Собрание отвечает движением ужаса.

— На голосование декрет! — кричат со всех сторон.

Марат спускается с трибуны, смеясь и пожимая плечами. Проходя через зал, он бросает презрительный взгляд на своих коллег справа: «Свиньи, дураки», — говорит он достаточно громко, чтобы его слышало всё Собрание[26]. «Пора, — восклицает Леарди (от Морбиана), — узнать, произнесёт ли Конвент, приняв подобающую ему позу, приговор между преступлением и добродетелью; пора узнать, состоит ли половина Конвента из злодеев, или Марат может безнаказанно каждый день посягать на суверенитет народа, чьим другом он себя называет».

— Я требую, — добавляет Лесаж (от Эр-и-Луара), — закрыть прения по обвинениям против Марата и не слушать больше никого, кроме его защитников. — Кто осмелится защищать Марата? — кричат несколько депутатов. На этот призыв поднимаются два монтаньяра, Лежён и Тирион: «Не будучи другом Марата, — говорят они, — можно защищать свободу печати».

— Мне не нужен защитник, — восклицает «друг народа», — обвинение, которое вы только что слышали, — манёвр клики, преследующей парижскую депутацию; они хотят удалить меня из Собрания, потому что я им мешаю, разоблачая их заговоры. Вы не можете вынести против меня декрет об обвинении, поскольку вы декретировали свободу мнений; я требую, напротив, декрета, который отправил бы государственных мужей в сумасшедший дом.

Бюзо иронически просит слова в пользу обвиняемого: «Я не стану напоминать Собранию, что оно отвергло закон против подстрекателей к убийству. Многие события с тех пор доказали, насколько этот закон был необходим; но большие неудобства сопряжены с декретами об обвинении, выносимыми поспешно; они часто оказываются бесплодными. Что бы случилось с Конвентом, если бы он декретировал обвинение против господина Марата, а господин Марат был

бы оправдан парижским судом присяжных?» — Эпитет «господин», приставленный к имени «друга народа», кажется его сторонникам самой тяжкой обидой, какую только можно нанести ему. «Это вы господин!» — кричат Бюзо с крайней левой.

Оратор напоминает, что то, что печатает Марат, каждый день говорится в игорных притонах, где тот черпает правила, которые затем продаёт по два су за листок; он заклинает своих коллег не придавать этому человеку слишком большого значения. «Возможно, — говорит он в заключение, — он лишь орудие некоторых людей; через него разжигают анархию, а анархия ведёт к королевской власти».

Оскорбительное великодушие Бюзо находит немало подражателей на скамьях Жиронды. «Я требую, — восклицает Фонфред, — чтобы Конвент принял переход к повестке дня с такой мотивировкой: Собрание заявляет Франции, что вчера Марат проповедовал грабёж и что вчера вечером в Париже грабили». — «Я предлагаю, — говорит Пеньер, — постановить, что Марат безумен и что в целях общей безопасности он будет заключён в Шарантон, откуда сможет выйти лишь тогда, когда Революция закончится». — «Да, нужно, — добавляет Банкаль, — чтобы, следуя в этом обычаю, установленному американской Конституцией, Конвент, постановляя двумя третями голосов, решил: 1) что Марат будет временно исключён из своего состава; 2) что его психическое состояние будет обследовано врачами». — «Это сам Банкаль безумен, — отвечает Колло-д'Эрбуа, — если предлагает нам постановлять на основании американской Конституции. Эти господа, — добавляет Базир, — говорят нам, без сомнения, об американской Конституции, чтобы привести нас к федеративному правлению, предмету их честолюбия».

С обеих сторон требуют поименного голосования. И Гора, и Жиронда одинаково хотят знать сторонников и противников «друга народа». Но о чём будет это голосование? о переходе к повестке дня, предложенном Фонфредом, о предварительном вопросе или о декрете об обвинении? Каждый из этих способов разрешить вопрос горячо поддерживается некоторым числом депутатов. Однако подавляющее большинство, кажется, хочет отдать приоритет последнему из трёх решений. «Что ж! — говорит Тирион, — я требую, чтобы было зафиксировано, что я явился защищать обвиняемого и не смог получить слова». — «Меня не могут судить мои враги, — восклицает Марат. — Это сторонники обращения к народу хотят убить друга народа; к тому же Собрание не может отказать заслушать меня».

— Он обвиняемый, он имеет право говорить, — повторяют хором монтаньяры.

Формальный декрет предоставляет слово Марату, и в благодарность Собранию за беспристрастие, проявленное к нему, он так начинает свою защиту: «Я полагал, что в Конвенте есть хоть немного стыда, если нет любви к справедливости. Что ж, я вызываю на себя декрет об обвинении, чтобы покрыть вас позором. Здравомыслящие люди, которым покажут мой листок, заявят, я заранее в этом уверен, что вы не умеете читать».

На эти новые наглости подавляющее большинство отвечает новыми криками негодования. Марат бросает им вызов жестом и голосом; но вскоре он произносит лишь отрывочные слова, бессвязные фразы; им овладевает нечто вроде истерического смеха, и он возвращается на своё место, повторяя, как настоящий маньяк, слова, которые бормочет сквозь зубы: «Государственные мужи! Государственные мужи!...»

Шум продолжается ещё долго. Устав от борьбы, сама Жиронда отказывается от мысли поразить Марата декретом об обвинении без предварительного следствия, без доклада комитета. Включая подстрекателя в судопроизводство, которое следует начать против самих грабителей, она устами Верньо присоединяется к следующей редакции, предложенной Меолем:

«Конвент, обсуждая поступивший к нему донос на писание Марата, относящееся к беспорядкам, грабежам и таксации товаров, имевшим место вчера в городе Париже, передаёт означенный донос в обычные суды, поручает министру юстиции организовать преследование

зачинщиков и подстрекателей этих правонарушений и доложить об этом в трёхдневный срок Конвенту»[27].

IX

Пока Национальное собрание предавалось этим бурным прениям, Совет Коммуны по своему вёл расследование причин мятежа. Если самые гнусные подстрекательства нашли защитников в недрах Собрания, то тем более бездействие Сантера должно было найти их в Ратуше. Торжественным постановлением было объявлено, что командующему вооружёнными силами не может быть вменено никакого порицания и что единственная мера, которую следует принять, — составить адрес Конвенту с требованием издать закон, карающий скупку, отменяющий свободу хлебной торговли, запрещающий продажу звонкой монеты, уменьшающий количество ассигнатов в обращении и назначающий суровые наказания, вплоть до смертной казни в определённых случаях, для всякого нарушителя этих новых постановлений.

Так каждый предлагал средство от ужасной язвы нищеты, разъедавшей Францию, и шарлатаны давали полный простор своему воображению. Шометт в Генеральном совете, забывая о том, что произошло несколькими месяцами ранее по поводу лагеря под Парижем[28], заявлял, что неимущее население столицы успокоится лишь тогда, когда государство обеспечит его работой, предприняв многочисленные общественные работы. В Конвенте Карра предлагал восстановление чрезвычайных судебных палат, неоднократно создававшихся при старом режиме, чтобы заставить откупщиков вернуть награбленное; Шабо хотел закрыть парижскую Биржу и представлял обширный финансовый план, согласно которому все ассигнаты, выпущенные с начала Революции, должны были быть погашены менее чем за два года.

Огромная масса бумажных денег действительно была главным затруднением положения и постоянным предметом забот Финансового комитета. Его обычный докладчик Камбон, отступая от крайних идей, которые он исповедовал в политике, пришёл через несколько дней после мятежа 25 февраля изложить Собранию огромный вред, который народные волнения причиняют государственной казне. «Если ассигнаты испытывают значительное обесценивание, — говорил он, — если торговля в отчаянном положении, если взносы не поступают, всё это происходит из-за безумных проповедей лжепатриотов, которые держат народ в постоянном состоянии смуты и недоверия. Залог наших ассигнатов покоится на имуществе, которое нация выставляет на продажу, но никто не осмеливается покупать их с тех пор, как некоторые лица принялись проповедовать нарушение частной собственности. Бумага нации не обращается и тем самым обесценивается. Цены на товары растут, а вместе с ними и наши затруднения. Более того, вы декретировали награды защитникам отечества, вы выделили им земли; но если эти земли утратили всякую ценность, ваши обещания пусты. Первая основа вашей финансовой системы — доверие. Постановите же, что всякая собственность находится под защитой закона».

— Заявите также, — добавляет Луве, — что члены конституционных властей Парижа несут личную и солидарную ответственность за посягательства, которые могут быть совершены в этом городе на безопасность собственности и личности.

— Всё, что предлагают Луве и Камбон, уже давно декретировано, — отвечает левая.

— Что ж! возобновите эти декреты, раз они не исполняются, — возражает Банкаль.

Конвент принимает переход к повестке дня, мотивированный существованием прежних законов. — Но все эти декреты, старые и новые, соблюдались не лучше одни, чем другие. Демagogические газеты упорно продолжали подстрекать к убийству и грабежу. Законодательный комитет, которому было поручено составить закон против стольких бесчинств, не представлял своего доклада. Марат продолжал горделиво восседать на гребне Горы.

Долго защищая дело свободы торговли, Конвент вскоре позволит увлечь себя к голосованию за тот знаменитый закон о максимуме, который должен довершить бедствия нации.

Что бы ни говорил Камбон, доверие нельзя декретировать. Можно, конечно, провозглашать непогрешимость народа, можно провозглашать его всемогущество, но законодателю невозможно, из какого бы источника он ни черпал своё право, на какую бы силу ни опирался, какие бы средства ни применял, определять размер заработной платы или цену товаров. Это всё равно что пытаться упорядочить ход времён года или уровень великой реки. Конвент испытал это на печальном опыте. Он захотел деспотически навязать свою волю торговым сделкам, как пытался сделать это в области совести. Он призвал на помощь террор и эшафоты, покрыл Францию развалинами и в конце своего пути завещал банкротство своим печальным преемникам. Безрассудно устремившись в обширное поле утопии, он бежал среди обломков общественного состояния и частных состояний, чтобы разбиться о ту медную стену, которую называют: СИЛА ВЕЩЕЙ.

Примечания:

[1] Убийца Лепелетье, Парис, отчаявшись уйти от преследования, несколько дней спустя покончил с собой на постоялом дворе в Форж-лез-О. Его личность была удостоверена двумя комиссарами Конвента. Некоторые историки подвергали сомнению реальность этого самоубийства, полагаясь на свидетельства людей, утверждавших, что встречали Париса в Женеве несколько лет спустя.

Мы отказываемся верить, без достоверных доказательств, этим легендам, которые обыкновенно основываются лишь на весьма спорных сходствах.

[2] См. том V, книга XXIII, § VII.

[3] Речь Фабра д'Эглантина едва упомянута в «Монитёре». Её можно найти в «Журналь де Деба э Декре», № 126, стр. 304.

[4] Регламент Собрания не определял минимума голосов, необходимого для формирования комитетов. Монтаньяры воспользовались этим пробелом, чтобы признать действительным голосование, в котором приняло участие лишь немногим более трети членов Конвента и где десять из двенадцати избранных не смогли собрать половину плюс один голос от поданных. Вот, согласно официальному протоколу, число голосов, полученных каждым из членов нового Комитета общей безопасности:

голосов

голосов

Базир 174

Рюамп 130

Ламарк 150

Марибон-Монто 126

Шабо 146

Тальен 124

Лежандр 146

Энгран 119

Бернар де Сент 142

Жан Дебри 108

Ровер 138

Дюэм 106

Поскольку Жан Дебри не принял назначения, Ласурс, оказавшийся во главе списка, наспех составленного Жирондой, был призван в Комитет в качестве заместителя.

[5] См. том V, книга XX, § IX, книга XXII, § XI и книга XXIII, § VII.

[6] Письмо Керсена было составлено так:

«Гражданин председатель, моё здоровье, давно уже ослабленное, делает для меня невозможной жизнь в столь бурном Собрании, как Конвент. Но что для меня ещё невозможнее, так это выносить позор сидеть в его стенах рядом с кровавыми людьми, тогда как их мнение, предваряемое террором, одерживает верх над мнением людей порядочных, тогда как Марат одерживает верх над Петитоном. Если любовь к моей стране заставила меня вынести несчастье быть коллегой панегиристов и зачинщиков сентябрьских убийств, я хочу по крайней мере защитить свою память от упрёка в том, что был их сообщником, а для этого у меня есть лишь один миг: завтра будет уже поздно.

Я возвращаюсь в лоно народа; я слагаю с себя неприкосновенность, которой он меня облёк, готовый отчитаться перед ним во всех своих поступках, и, без страха и без упрёка, подаю в отставку с должности депутата Национального конвента.

А. ГИ КЕРСЕН».

[7] Керсен заплатил головой за свой мужественный шаг. 3 октября 1793 года он был арестован по приказу Комитета общественного спасения в департаменте Эр, 5 декабря следующего года предстал перед революционным трибуналом, был осуждён и казнён в тот же день.

[8] Уже 26 января Ролан направил в Конвент отчёт о расходах своей администрации. К нему он приложил отчёт о расходах, произведённых из кредита в 100 000 ливров, открытого ему после 10 августа для распространения в департаментах сочинений, способных формировать общественный дух; он использовал лишь 32 000 ливров. Собрание распорядилось напечатать эти отчёты, но этим всё и ограничилось. Вплоть до 31 мая бывший министр не переставал требовать их рассмотрения и утверждения, в частности двумя письмами от 24 февраля и 28 марта; его враги всегда умели находить предлоги для отсрочки их одобрения. Колло-д'Эрбуа, который в марте 1792 года соперничал с Роланом за пост министра внутренних дел и с того времени сделался его личным врагом, взял на себя в Обществе якобинцев составление обвинительного акта, направленного «братьями и друзьями» против их прежнего сотоварища. Он опубликовал свой пасквиль 3 марта 1793 года. Этот так называемый доклад не содержит ни одного факта, не представляет ни одного доказательства; это лишь яростная и грубая диатриба против павшего министра. Наступило 31 мая, и Гора утвердила счета своего врага по-своему: она подвергла Ролана проскрипции, а его жену отправила на эшафот.

[9] В тот же день министр внутренних дел направляет административным органам, народным обществам и всем своим согражданам прощальное письмо, которое является лишь отражением того, что он только что адресовал Конвенту. Это второе письмо начинается так: «Пока я сохранял надежду делать добро на своём посту, я оставался на нём, сколь бы тягостен и опасен он для меня ни был. У меня больше нет этой надежды, мне остаётся лишь удалиться и завернуться в свой плащ».

Письмо Ролана к Конвенту находится в «Монитёре», № 26; письмо к административным органам — в том же издании, № 25.

[10] На следующий день Марат в своём листке «Патриот франсэ» разразился инвективами против нового председателя и упрёками в адрес собственных друзей. «Они, — говорил он, — слишком склонны забываться за столом, вместо того чтобы быть на своём посту».

«Монитёр», верный своей привычке к осторожности, довольно бегло скользит по всем деталям вечернего заседания 24 января. Он даже не указывает, кто был соперником Рабо Сент-Этьена. Умолчание, безусловно рассчитанное, имени Дантона мешает понять, почему монтаньяры разразились столь яростным гневом при объявлении результата голосования.

[11] Как мы сейчас увидим, Паш был избран несколькими днями позже мэром Парижа. Поэтому ни военный комитет, ни двенадцать членов, прикомандированных к этому Комитету, так и не представили своего доклада об обвинениях в растратах, выдвинутых против министра. Трижды — 4 февраля, 28 марта и 28 апреля — жирондисты добивались формального декрета Конвента о том, что столь долго обещанный доклад будет в кратчайший срок положен на стол председателя. Эти три декрета остались мёртвой буквой. Паш стал могущественнее, чем когда-либо. Мы увидим, как 31 мая он явится во главе парижского муниципалитета требовать от Собрания головы тех, кто осмелился потребовать у него отчёта.

[12] См. т. V, книга XVIII, § V.

[13] Прюдом в «Революсьон де Пари», газете, которую, однако, нельзя было заподозрить в модерантизме, энергично восстаёт против этого нарушения личной свободы. Он уверяет, что несколько мировых судей, в частности судья секции Санкюлотов, отказались оказывать содействие столь притеснительной мере.

[14] Николя в то самое утро направил председателю Конвента мужественную петицию, вот её основные места:

«Из тюрьмы Аббатства, 27 января 1793 года.

Гражданин председатель, свобода печати должна быть священной. Бессмертный Лепелетье был глубоко убеждён в этой великой истине, ибо он первым воспротивился проекту декрета против подстрекательства к убийству. И что же, граждане представители, в нарушение всех принципов, в нарушение всех законов я был арестован вчера в два часа ночи по приказу вашего Комитета надзора; моё жилище было подло осквернено толпой вооружённых людей, а сам я в течение ночи был перетаскиваем из караульни в караульню. В конце концов меня отправили в Аббатство на основании королевского указа за подписью Бернара (де Сента), Базира, Монто, Рюампа, Дюзма и Ровера.

В чём же моё преступление? Вот оно: будучи редактором „Журналь франсэ“, я не мог совладать со своим негодованием при виде этих существ, у которых дерзость соперничает с ничтожеством. Я щедрой рукой изливал насмешки на главарей анархии, на проповедников аграрного закона, я сорвал часть маски, которой они прикрываются. Они ужасаются своей наготы, и с тех пор моя гибель была предрешена. О! если бы я в поджигательских листках требовал 200 000 голов, если бы я подстрекал к убийству, к смертоубийству, если бы я сделался услужливым апологетом чудовищных дней 2 и 3 сентября, если бы, наконец, я объявил себя в состоянии восстания, я спокойно расхаживал бы по улицам города, я был бы патриотом по преимуществу.

Разве я в Алжире или в Триполи? Разве Лемуары, Бретейли всё ещё располагают батальонами? Неужели нам хотят представить Республику в столь отвратительных формах лишь для того, чтобы заставить нас сожалеть о деспотизме королей? Неужели нужно сломать своё перо лишь потому, что не имеешь мужества льстить некоей партии, потому что не умеешь идти на сделку со своей совестью?»

[15] См. т. III, книга IX, § XIII, книга X, § V и книга XII, § VII.

[16] Этот вопрос о свободе мнений вставал каждый день в той или иной форме. Впервые он возник по поводу одной комедии; мы видели (т. V, книга XXV, § VI), как Конвент отменил мотивированным переходом к повестке дня постановление Коммуны, восстановившее театральную цензуру по поводу «Друга законов». Но муниципальная власть не посчиталась с этим декретом; она распространила свои запреты не только на пьесу Лайя, но и на водевиль под названием «Целомудренная Сусанна», а вскоре и на трагедию «Меропа». Почему эти новые запреты? Потому что в первой из этих двух пьес видели молодую женщину, несправедливо обвинённую; потому что во второй Вольтер рассказал о несчастьях царицы, которая ждёт героя, чтобы отомстить за своего супруга и восстановить своего сына на престоле.

Конвент, по-прежнему плетущийся в хвосте у Коммуны, вскоре (31 марта 1793 года) подтвердил приговор, вынесенный его соперницей, и положил начало восстановлению цензуры, запретив произведение фернейского философа. Коммуна сделала тогда ещё один шаг и формальным постановлением потребовала от Конвента декретировать:

чтобы Комитет народного просвещения представил себе репертуар театров с целью очистить его от всех пьес, способных развращать республиканский дух;

чтобы занялись средствами учреждения зрелища, предназначенного для просвещения народа;

чтобы в новом зале, который должен быть построен для театра Оперы, были зарезервированы бесплатные места для малоимущих граждан и чтобы эти места были распределены по всем частям зала.

Комитет общественного спасения, ставший всемогущим, без колебаний перенял порядки, уже установленные Коммуной, и начал по-своему покровительствовать искусствам и литературе. Нам ещё представится случай поговорить об этом режиме, который был утверждён законом от 2 августа 1793 года.

[17] См. т. V, книга XXIV, § III.

[18] В примечаниях, относящихся к наказанию сентябристов и к миссиям комиссаров повстанческой Коммуны (т. III, примечание XXVII; т. IV, примечание I), мы рассказали основные эпизоды заседаний 8 и 13 февраля, на которых Гора добилась для своих сообщников этого двойного триумфа.

[19] См. т. IV, книга XVIII, § V. Мы рассказали о нескольких эпизодах этих беспорядков. Они были успокоены благодаря выдержке муниципальных властей и национальных гвардий департаментов Орн, Луаре и Эр-и-Луар. Последние примеры принудительной таксации на рынках относятся к последним дням декабря 1792 года.

[20] См. т. IV, книга XVII, § III.

[21] Письмо, о котором здесь идёт речь, не находится ни в «Монитёре», ни почти ни в одной газете того времени. Робеспьер, который, вероятно, вдохновил его, а возможно, и составил, приводит его полностью в своей газете «Ами де ла Конститусьон». Бюше и Ру воспроизвели его в своей «Парламентской истории», т. XXX, стр. 286.

[22] «Революсьон де Пари», № 490.

[23] См. «Журналь де Деба э Декре», № 161, стр. 323. Окончание этого заседания совершенно искажено в «Монитёре».

[24] См. «Монитёр», № 59.

[25] Вот место из «Републикэн франсэ», на которое здесь намекает Барер:

«Когда работницы-прачки пришли жаловаться на чрезмерную дороговизну мыла, Шометт сказал: „Мы уничтожили дворян и Капетов; нам остаётся ещё низвергнуть одну аристократию — аристократию богачей и лавочников, которые скупают продовольствие народа, чтобы заставить его пасть перед ними на колени; нужно преследовать их, и я открыто выступаю против них, хотя отлично знаю, что, если они одержат верх, меня гильотинируют. Я требую, чтобы мы отправились в Конвент добиваться смертной казни для скупщиков“.

Эбер говорил в том же смысле, что и Шометт, и возложил вину за дороговизну припасов на сторонников изменника Капета, которые скупают, чтобы заставить сожалеть о старом режиме, а также на Ролана, который, хотя и смещён, всё ещё остаётся за кулисами.

Жак Ру поддержал мнение своих коллег, но добавил: „Если у нас есть неверные представители, гильотина готова наказать их, а если они не хотят, если они не могут спасти народ, скажем народу, чтобы он спас себя сам, чтобы он отомстил своим врагам“. (Аплодисменты трибун.)»

[26] Эти мало парламентские любезности друга народа засвидетельствованы самим «Монитёром», № 59.

[27] Формальным декретом Конвента преследование преступлений и правонарушений, совершённых в связи с февральскими грабежами, было поручено уголовному трибуналу департамента Сена-и-Уаза. Но это преследование велось весьма вяло; после трёх месяцев следствия, 21 мая 1793 года, перед судом присяжных оказались лишь несколько лиц самого незначительного положения. Большинство было оправдано, главный обвиняемый был приговорён к одному году тюрьмы, а нескольким женщинам был назначен простой штраф. Трибунал не осмелился включить Марата в обвинение, переданное присяжным.

[28] См. т. IV, книга XVII, § I.

КНИГА XXVII. — ЕВРОПЕЙСКАЯ КОАЛИЦИЯ

I. Положение Европы по отношению к Республике. — II. Убийство Басвиля в Риме. — III. Объявление войны Англии и Голландии. — IV. Плачевное состояние армий. — V. Дезорганизация военной администрации. — VI. Проект завоевания Сардинии. — VII. Неудавшееся нападение на Кальяри. — VIII. Экспедиция на Магдалену. Первые шаги Бонапарта. — IX. Разрыв Бонапарта с Паоли.

I

Удар топора 21 января имел огромный отклик в Европе. Народы и короли пришли в волнение одновременно; все обиды, все интересы, все алчные устремления соединились, чтобы проповедовать всеобщий крестовый поход против Франции[1]. Уже с 1789 года большинство государей инстинктивно высказались против применения новых идей, хотя многие из них принимали и превозносили эти идеи, пока те оставались в состоянии теорий. Ещё недавно они с удовольствием обменивались с Философами, раздавателями славы, письмами, полными предупредительности и лести, предлагали им пышное гостеприимство, щеголяли изысканной чувствительностью или платоническим бескорыстием. Но они не замедлили понять, что право граждан и наций, провозглашённое французскими собраниями, находится в вопиющем противоречии с тем правом, которое они якобы получили от Бога и от своих предков; они только что получили доказательство, что, поколебав короны, Революция вполне может заставить пасть и головы, которые их носят.

При рассказах об отвратительных сценах 10 августа и 2 сентября, при чтении отчётов о процессе Людовика XVI ораторы, поэты, мыслители были взволнованы почти так же, как и короли. Те из них, кто рукоплескал первым актам Революции, поспешили отречься от всякой солидарности с приверженцами якобинизма.

До тех пор народы, безмолвные, но внимательные зрители великой драмы, разворачивавшейся у них на глазах, колебались в выборе между новыми принципами, обещавшими им свободу, и старыми доктринами, которые, за неимением этого столь драгоценного блага, казалось, по крайней мере обеспечивали им спокойную жизнь. Но начиная с 21 января их сомнения исчезают. Охваченные ужасом, они бросаются в объятия своих прежних повелителей и просят спасти их любой ценой от революционного чудовища.

С другой стороны, французское правительство, надо сказать, словно находит удовольствие в том, чтобы оттолкнуть от себя последние симпатии, на которые оно ещё могло рассчитывать. Оно тревожит все интересы, после того как оскорбило все совести. Своими декретами от 19 ноября и 15 декабря 1792 года Конвент обещает помощь и покровительство нациям, которые восстанут против своих государей; он приказывает своим генералам, как только они ступят на чужую землю, уничтожать, искоренять учреждения, противные свободе и равенству. Он рассылает комиссаров — и каких комиссаров! — просвещать народы, чью территорию занимают его армии.

Исполнительная власть фактически объявляет упразднёнными международные акты, которые могут содержать положения, посягающие на естественное право; она выставляет притязание пересматривать по собственной воле договоры, которые на протяжении нескольких веков образуют публичное право Европы. Ради торжества весьма спорных принципов бросают вызов в лицо Голландии и Англии, провозглашают свободу судоходства по Шельде и Маасу, вопреки самым формальным постановлениям Вестфальского договора[2]. Мало того, что на руках уже война с Пруссией и Австрией, — безрассудно провоцируют Германский сейм, вторгаясь в область Поррантрюи, захватывая несколько имперских городов, в частности Шпейер, Майнц и Франкфурт.

Но не одна Франция одержима жадной завоеваний. Три державы, которые в 1772 году соединились для преступления первого раздела Польши, помышляют воспользоваться европейскими смутами, чтобы произвести новое расчленение этой несчастной страны. Только более предусмотрительная, чем её два сообщника, лукавая Екатерина, хотя и громко провозглашает свою ненависть к французской Революции, не поддерживает ни солдатом, ни экою попытки Пруссии и Австрии исполнить угрозы Пильница: она бережёт свои людские и денежные ресурсы, чтобы в удобный момент броситься на родину Ягеллонов и Собеских и выкроить там себе львиную долю, предоставив лишь жалкие остатки этой добычи двум своим прежним соучастникам раздела.

Число государств, соблюдающих нейтралитет по отношению к Франции, сокращается с каждым днём. Только они и могли бы возвысить голос в пользу несчастного Людовика XVI, поскольку только они сохраняли дипломатические отношения с французским правительством. Но до катастрофы 21 января ни Англия, ни скандинавские державы, ни итальянские государи, ни даже Америка не предпринимали официальных шагов. Испания представила несколько робких замечаний, и мы видели, как они были приняты[3]; поэтому можно было предвидеть, что в довольно скором времени правительство Пиренейского полуострова перейдёт от всё более сомнительного нейтралитета к открытой враждебности. И однако, при некоторой искусной предупредительности, парижский кабинет мог бы избавить себя от этого нового противника; ибо очевидный интерес Испании в момент, когда война между Францией и Англией становилась неизбежной, состоял в том, чтобы соединиться с другими морскими державами и заставить строго соблюдать право нейтральных. Это поняли Швеция и Дания. Эти два стража Балтики справедливо сочли нужным упорствовать в системе, принятой ими в 1780 году. Одна лишь республика Соединённых Штатов присоединилась к этой политике; Португалия, Неаполь и другие итальянские государства дали увлечь себя в европейскую коалицию.

II

Население заальпийских стран, глубоко привязанное к монархии и католицизму, с ужасом увидело падение трона Людовика XVI и кровавую проскрипцию, распространённую на всё французское духовенство. Глава христианского мира был серьёзно ущемлён в своих мирских интересах как государь и в своём достоинстве как понтифик. Его лишили Конта-Венессена, оскорбляли в народных мятежах, которым нисколько не препятствовали, позднее высмеивали в министерских документах[4]. Ему объявили моральную войну задолго до того, как прекратили с ним всякие официальные сношения.

Французское правительство, державшее в Риме консула, тогда как у папы во Франции консула уже не было, выставило притязание заставить водрузить на жилище этого агента герб Республики в тот самый момент, когда оно только что позволило втоптать в уличную грязь в Марселе и Париже знаки папского правительства. Последнее формально воспротивилось этому и заявило, что его отказ останется в силе, пока ему не будет дано удовлетворение за обиды, на которые оно жалуется. Переговоры по этому предмету вёл Бассвиль, секретарь неаполитанской миссии, за отсутствием официально аккредитованного при Святом Престоле поверенного в делах. Но его положение, как и положение всех французов, проживавших в вечном городе — будь то воспитанники Римской академии или лица, находившиеся там по иному основанию, — стало крайне затруднительным во время процесса короля. При каждой новой фазе этого прискорбного разбирательства живейшее негодование проявлялось во всех слоях общества; жители Трастевере были настроены не менее враждебно, чем прочие. Каждый день, начиная с Рождества, вокруг французского консульства собирались народные толпы. 12 января из Неаполя прибывает морской офицер по имени Де Флотт с последними инструкциями исполнительной власти. Они содержали прямой приказ в двадцать четыре часа поместить герб Республики на консульском доме; они не допускали ни отказа, ни отсрочки.

На следующий день Бассвиль и Де Флотт, не дожидаясь ответа папского правительства, не слушая возражений французского консула, выезжают в экипаже и отправляются на Корсо бравировать толпой, бушующей с самого утра. Там их осыпают камнями, и они вынуждены укрыться в доме одного французского негодяя. Стража прибегает, чтобы защитить их; но, несмотря на её усилия, двери дома взламывают, Бассвиль получает смертельный удар на руках у жены. Де Флотту удаётся спастись через окно; госпожу Бассвиль убийцы пощадили, но дом разграблен и предан огню. Несколько зданий, в том числе Римская академия, подвергаются той же участи; воспитанников преследуют, но им удаётся бежать. От собственности наших соотечественников переходят к собственности евреев, которых обвиняют в приверженности французской Революции. В течение двух дней мятеж остаётся хозяином города, и лишь крупное развёртывание военных сил может положить ему конец[5].

Де Флотт, которому удалось добраться до Неаполя, спешит оттуда в Париж, чтобы рассказать исполнительной власти о сценах, где он был действующим лицом и свидетелем. Совет не считает нужным требовать от папского правительства ни объяснений, ни возмещения; он немедленно обращается к Конвенту с посланием, прося дать ему средства извлечь блистательное отмщение из «наглого лицемера Рима, который слишком долго оскорбляет и терзает род человеческий».

Собрание справедливо взволновано рассказом о печальном событии, театром которого только что стала столица христианского мира; оно спешит усыновить ребёнка жертвы и назначить пенсию вдове. Но представившийся случай возложить на верховного понтифика ответственность за убийство жадно подхватывается антирелигиозными страстями.

— Нужно сжечь Ватикан! — кричат несколько голосов. — Нужно, — добавляет Жан Дебри, — отомстить за поруганную свободу. Когда развращённый Рим захотел покарать Югурту, он сумел схватить его и умирить в темницах. Понятно, к кому относится это сравнение[6].

III

Французская революция при своём начале была встречена в Англии с живейшей симпатией. Понадобились все ошибки и все преступления, совершённые за четыре года, чтобы постепенно поредели ряды писателей и ораторов, поддерживавших в печати и в Парламенте демократические идеи. Бёрк и его друзья, герцог Портленд и его сторонники последовательно высказались против тех, кто удвоенными ударами подрывал трон Людовика XVI. После 10 августа только Фокс и Шеридан продолжали поддерживать союз двух стран; но в их распоряжении оставалось не более полусотни голосов в Палате общин, и это меньшинство, и без того столь слабое, с каждым днём имело тенденцию сокращаться. Завоевание Бельгии, открытие Шельды, мало скрывааемые замыслы против Голландии, опасения и зависть британской торговли, безумные попытки нескольких приверженцев якобинизма в Англии, наконец, бахвальство некоторых членов Конвента[7] делали войну между двумя нациями почти неизбежной.

Питт превосходно сумел использовать в пользу идеи, которой он был счастливым и искусным представителем, этот переворот в умах. Он почувствовал, что настал час отомстить за свою страну за огромное унижение, которое Франция заставила её претерпеть, вынудив признать независимость американских колоний. По странной аномалии, предлог, который он давно искал, он нашёл в позорной казни монарха, поощрявшего это восстание и заставившего торжественным договором закрепить существование Соединённых Штатов.

Со времени заключения короля в тюрьму отношения между двумя кабинетами уже не были официальными, а лишь официозными. Господин де Шовелен, аккредитованный 2 мая 1792 года в качестве посла Его Христианнейшего Величества при Сент-Джеймском дворе, оставался на своём посту. Английские министры принимали ноты, которые он представлял от имени республиканского правительства; они отвечали на них, прямо не признавая, однако, радикальной новации, происшедшей в его полномочиях. Но прения в палатах, споры между

Питтом и Фоксом, внесение и принятие закона об иностранцах, позволявшего высылать чужеземцев без применения форм, ограждающих личную свободу, мало скрывааемые приготовления Англии, призывавшей свою милицию, вооружавшей арсеналы и требовавшей у Парламента значительных субсидий, — всё это составляло такое положение вещей, которое уже не было миром, но ещё не было войной.

Два человека, оба бывшие журналисты, один в Льеже, другой в Лондоне, держали, так сказать, в своих руках всё руководство внешними сношениями Франции: министр Лебрен и председатель Дипломатического комитета Бриссо. Оба питали самые безумные иллюзии насчёт республиканизма английского народа и полагали, что объявление войны Франции станет сигналом к грозным мятежам в недрах Великобритании. 12 января они поднимаются на трибуну, чтобы сообщить о чрезвычайной серьёзности положения. Первый читает письмо, которое лорд Гренвиль написал 31 декабря гражданину Шовелену, и ответную ноту, которую исполнительная власть Франции направила 7 января Сент-Джеймскому кабинету. Второй от имени Комитета делает доклад, одобряющий поведение министра и завершающийся проектом декрета, который является не чем иным, как последним ультиматумом, обращённым к английскому правительству. Собрание без прений принимает декрет, представленный Бриссо, приказывает морскому министру ускорить вооружение побережий и вотирует средства, необходимые для удвоения численности флота.

30 января министр иностранных дел кладёт на стол Конвента резкое и высокомерное письмо, которым лорд Гренвиль препровождает Шовелену его паспорта и предписывает ему в восьмидневный срок покинуть английскую территорию.

«Британское министерство, — говорит Лебрен, — забыло, что обещало ни во что не вмешиваться в наши внутренние дела, и воспользовалось справедливой строгостью нации к последнему из её королей как предлогом, чтобы объявить себя против неё. Необходимая смерть чужеземного тирана стала для Англии сигналом к публичному трауру, к усилению приготовлений и предлогом для оскорбления, которое ничем нельзя смягчить; но французская нация, столь же великая и столь же доблестная на море, сколь была на суше, скоро сумеет извлечь блистательное отмщение за эту обиду».

Два дня спустя Бриссо заключает в том же духе:

«Английский двор хочет войны, но, по макиавеллиевскому ухищрению, он хочет избежать видимости агрессии, ибо ему важно популяризировать, национализировать разрыв своих отношений с нами. Не следует скрывать от себя опасностей борьбы, которую мы собираемся предпринять; это вся Европа, или, вернее, все тираны Европы — вот с кем вам предстоит сражаться. Все ваши средства, стало быть, в вас самих, в вас одних: нужно, чтобы ваша земля, ваша промышленность, ваше мужество восполнили всё, в чём отказывают вам природа и обстоятельства. Нужно, чтобы торговец забыл свою торговлю и стал лишь судовладельцем; чтобы капиталист употребил свои средства на поддержку наших ассигнатов, на удовлетворение потребностей в звонкой монете; чтобы собственник и земледелец отказались от всякой спекуляции и доставили изобилие на наши рынки; нужно, чтобы все французы составили одну великую армию, чтобы Франция была военным лагерем. Нужно готовиться к неудачам, привыкать к лишениям. Близится час, когда для каждого гражданина станет преступлением иметь два платья, если хоть один из наших братьев-солдат раздет».

При этом живом и захватывающем изображении опасностей, которым собирается бросить вызов Франция, и жертв, на которые она решается ради завоевания свободы народов, патриотический трепет пробегает по Собранию и трибунам. Но председатель призывает к тишине, и Бриссо продолжает:

«Лишь чередой жертв, лишь сверхъестественными усилиями вы можете надеяться победить, сокрушить этого колосса — более внушительного, чем грозного, — Англию, эту последнюю опору коронованной коалиции... Если бы вам, предназначенным сражаться с лигой

тиранов, предводительствовал король, французы, ваша гибель была бы несомненна; но вами повелевает свобода; свобода творит чудеса; вы победите. Вы можете всё, если сильно захотите всего. Пусть дух свободы наэлектризует все души, погасит частные страсти или, вернее, сплавит их в одну — страсть к свободе. Пусть все умы сплотятся вокруг священного ковчега — Конвента. Кто стремится унижить его или распустить, тот враг рода человеческого; ибо спасение рода человеческого — здесь»[8].

Со всех сторон требуют перейти к голосованию, но на трибуну устремляется Дюко. Его черты дышат воодушевлением, глаза мечут молнии; его звенящий голос приковывает внимание и побеждает нетерпение Собрания:

«Конвент, — восклицает он, простирая руку, словно принося торжественную клятву от имени отечества, — Национальный конвент Франции не объявляет войну королю Англии. Клянусь перед лицом Европы и потомства, что, великие в своём долготерпении, как и в своём мужестве, вы долго приносили справедливое негодование, внушённое пренебрежением, недоброжелательством и оскорблениями английского правительства, в жертву упорному уважению, которое вы храните к нации, некогда бывшей свободной, и желанию соединиться с ней братскими узами. Для наставления английского народа, для оправдания Франции в глазах вселенной я требую опубликования всей переписки, которою обменялись парижский и сент-джеймский кабинеты. Гласность шагов свободного и справедливого правительства всегда будет его апологией.

Дадим услышать Европе голос справедливости, смешанный с песнями победы; но когда разум сказал своё слово, его должна поддержать сила. Отомстим за наши права, слишком долго оскорбляемые или не признаваемые. Что же до деспотов, осмеливающихся нападать на нашу свободу, покараем их освобождением их народов. Пусть наши границы покроются солдатами, наши порты — матросами; пусть всё отечество выступит на защиту отечества; день битвы близок, весна скоро возродится, и древо свободы должно зазеленеть вместе с природой».

Продолжительные рукоплескания встречают последние слова молодого оратора. Собрание постановляет, что переписка, которою обменялись лондонский и парижский кабинеты, будет немедленно отдана в печать и что речь Дюко будет помещена во главе этого собрания документов. Затем единогласно оно вотирует объявление войны королю Англии и штатгальтеру Голландии, которого Бриссо в своём докладе назвал скорее подданным, чем союзником сент-джеймского кабинета.

IV

Франция отныне в войне со всей Европой, но положение сильно изменилось с ноября месяца. Наши солдаты, которых мы оставили победоносными в Ахене, Майнце, Шамбери, Ницце[9], лишь с великим трудом удерживались на позициях, которые тогда занимали. Несмотря на энергичные усилия и тягостные жертвы, они не могли продвинуться ни на шаг. Энтузиазм свободы, породивший чудеса кампании 1792 года, угас под холодными объятиями зимы или, вернее, под отвращением, которое внушают всем людям с сердцем распри партий, насилия клубов, клеветы демагогических газет.

В Савойе, благодаря отныне обеспеченному нейтралитету Швейцарии и стенам вечных льдов, защищающим альпийские проходы, французские войска не подвергались тревогам. Но в графстве Ницца бывший помощник Монтескью, Ансельм, вынужден одновременно противостоять многочисленным отрядам партизан, рыщущим в горах, и австро-пьемонтской армии, которая с перевала Тенда ведёт непрестанные атаки на наши передовые посты. К этим военным затруднениям присоединяются разногласия между генералом, гражданскими властями и комиссарами Конвента. Как и Монтескью, и с таким же малым основанием, Ансельм обвиняется в растратах и грабежах. Несколько неосторожных шагов, предпринятых с целью добиться займа у Генуэзской республики, вменяются ему в преступление, подобно тому как незадолго до того были вменены его несчастному начальнику переговоры с Женевой. Обвинённый пред-

ставителями Инаром, Деспинасси, Обри, Ласурсом, Гупийо и Колло-д'Эрбуа, которые поочередно приезжали в Ниццу разворачивать свои трёхцветные шарфы, он отозван 16 декабря и декретирован к обвинению 24 февраля[10].

На Рейне Кюстин остаётся в стороне от обвинений, лишаящих начальников армии Юга. Он продолжает бахвальство, доставившее ему всё ещё не померкшую популярность; но на деле он только что потерпел несколько очень серьёзных неудач. 2 декабря Франкфурт был взят обратно силой; 14-го, после неудачного боя при Хокхайме, тысяча двести пленных остались в руках неприятеля. Майнц плотно обложен армией в пятьдесят тысяч гессенцев и пруссаков; весь правый берег Рейна, за исключением двух небольших фортов Кёнигштейн и Кассель, очищен французами.

Мозельская армия, последовательно находившаяся под началом генералов Келлермана, Бернонвиля и Линьевиля, истощила себя в боях малой важности вокруг Полленгена и лишь очень поздно смогла расположиться на зимние квартиры.

Армии Севера и Арденн, обе поставленные под верховное командование Дюмуре, рассеяны на весьма обширном пространстве, что не позволяет как следует надзирать за расквартированием и поддерживать в войсках точную и строгую дисциплину. Победитель при Жемаппе, недовольный и нерешительный, удалился, как Ахилл в свой шатёр, в епископский дворец Льежа и покинул бельгийские провинции на произвол насилий и вымогательств комиссаров исполнительной власти. Всё расстраивается; мародёрство и дезертирство принимают огромные размеры; численный состав сокращается наполовину, а то, что остаётся, подвержено ужасающим лишениям, непрестанной нужде.

V

Каким образом облик вещей изменился столь внезапно? Каким образом армии, ещё недавно столь многочисленные и столь блестящие, пали до такой степени материальной слабости и нравственного оцепенения? Это было бы трудно объяснить, если бы мы в нашей стране не знали по неоднократному опыту, сколь много забот, надзора и практической опытности требует столь сложная машина, как администрация армий, чтобы все её колёса действовали исправно и повсюду несли движение и жизнь. Военным канцеляриям приходилось удовлетворять потребности в людях и материальных средствах, вдвое или втрое, быть может, превышавшие те, что проявлялись во время величайших войн царствования Людовика XIV. Лувуа изнемог бы под такой задачей, а Паш не был Лувуа.

Задача, которую предстояло решить, была такова: сопротивляться коалиции, более сильной и более многочисленной, чем все те, что в различные эпохи угрожали существованию французской монархии; снабжать и приводить в движение десять армий сразу, имея для этого лишь обесцененную бумагу, расстроенные кадры, начальников без опыта, национальных гвардейцев без военной выучки.

Число служащих министерства было удвоено, но все новые места были розданы бывшим другом Ролана своим сообщникам из клуба Сент-Оноре; большинство прежних должностей было отнято у их обладателей, которых не находили на высоте обстоятельств. Ибо от правительственных чиновников требовали прежде всего не знания традиций и не привычки к труду, а нравов и принципов самого чистого якобинизма. Самая грязная одежда, самый низменный язык, самый бесстыдный цинизм были обязательными пропусками для приёма и удержания в канцеляриях Паша. Его зять Ксавье Одуэн, бывший викарий церкви Святого Фомы Аквинского, был назначен им генеральным секретарём и подвергал подробному допросу по всем пунктам всех, кто претендовал на министерские милости[11].

Поставки давали повод к самым постыдным сделкам, к самым прискорбным обманам. Рубахи изготовлялись из упаковочного холста, обувь не выдерживала и нескольких часов ходьбы, все товары принимались без обмера и без протоколов. Попадая на склад, они оказывались негодными и не могли быть пристойно розданы войскам.

Вместо того чтобы заключать сделки на месте, комитет закупок сосредоточивал все поставки в Париже, откуда они рассылались по разным армиям. Это делалось, как говорил Камбон, чтобы дать средства к существованию французским рабочим и особенно парижским и удержать их от беспорядков. Но эти поставки, весьма дурного качества, производились по разорительным ценам. К основной цене прибавлялись огромные транспортные издержки; дороги разбивались, и самые необходимые припасы прибывали лишь через месяц или два после того дня, когда их ожидали. Расходовали двести миллионов в месяц и не достигали никакого результата. Фуража не хватало почти повсюду; в декабре и январе в одной лишь бельгийской армии шесть тысяч лошадей умерли от голода.

Каждый день новые декреты давали войскам самые прекрасные обещания; ни одно из них не исполнялось. Гарантировали денежную помощь жёнам и детям защитников отечества; но эта помощь задерживалась тысячью административных проволочек, а также скудостью государственной казны. В Париже давали мало; в деревнях — ничего. Национальные гвардейцы, находившиеся за тридцать или сорок лье от границ, получали от своих семей горестные письма, громко призывавшие их назад и рисовавшие ужасную нищету, до которой те были доведены.

Волонтёры 1791 года составляли вместе с линейными войсками основу армии, ибо волонтёров 1792 года едва успели собрать, сформировать в батальоны и хоть сколько-нибудь обучить. Между тем, по самим условиям их обязательства, которое должно было длиться лишь один год, первые освобождались по праву с 1 декабря 1792 года. Ежедневно страдая от ужасного обнищания, в котором их оставляли, узнавая о бедственном положении своих семей, многие из них полагали, что могут сами воздать себе справедливость, в которой им отказывали. Они говорили себе, что отбросили врага с равнин Шампани, что вторглись в Бельгию и Пфальц, что с лихвой уплатили свой долг отечеству и что теперь другие должны завершить столь удачно начатое дело. Поэтому дороги Фландрии, Эльзаса и Лотарингии были покрыты национальными гвардейцами, покидавшими свои батальоны с оружием и обозами. Могло ли быть иначе? Они знали, что к ним не могут применить суровые наказания, которые во все времена карали дезертирство; их мало трогали прокламации, обращённые к ним Конвентом, обещания, которые он им расточал, смехотворные наказания, которые он против них устанавливал[12].

Люди, остававшиеся под знамёнами, полагали, что в награду за приносимую ими жертву имеют право освободиться от правил, которые во все времена и во всех странах признавались необходимыми для поддержания дисциплины. Чтобы быть верным Декларации прав человека, разве сам законодатель не способствовал беспорядку и неподчинению? разве не позволили сначала выйти из употребления, а затем и отменили[13] постановления, запрещающие солдатам жениться? разве не объявили эти уставы, и многие другие, противными свободе граждан и, следовательно, недостойными фигурировать в кодексе республиканских армий?

Легко понять, до каких злоупотреблений могло дойти дело в подобных вопросах. Лагерь были полны женщин, связанных с солдатами узами более или менее законными. Как только армия получала приказ двинуться с места, её марши оказывались затруднены, её обозы захвачены, самые необходимые перевозки заброшены[14].

Выборность офицеров могла дать хорошие результаты в момент, когда батальоны организовывались, чтобы покинуть родные очаги; интрига имела лишь очень малую долю в назначениях, выбор обычно останавливался на достойнейших[15]. Но с начала кампании этот способ назначения в конце концов стал весьма действенным разлагающим средством. Часто чины доставались не самым способным и самым храбрым, а тем, кто проповедовал недисциплинированность и обещал безнаказанность[16]. Бывало, что капитанские патенты выставались на торги; терпимость к мародёрству, более чем поведение под огнём, становилась иногда основанием для избрания батальонами. Все привычки народных обществ проникли в ряды армии. В казармах и караульнях вносили предложения, как в клубе на улице Сент-Оноре. Каждый батальон замыкался в своём эгоистическом обособлении, занимался лишь своими нуждами,

подлинными или мнимыми, не заботясь об общем снабжении армии. Нередко можно было видеть, как обоз с оружием, порохом или мукой бывал остановлен или захвачен корпусом, которому он не предназначался. Пока армия шла вперёд, полагали, что беспорядок продлится лишь очень недолго, и запасались терпением. Но когда она встала на зимние квартиры и пришлось жить за счёт страны, где припасы истощались или прятались, зло обнаружилось во всей наготе и вскоре приняло огромные размеры[17].

VI

Дюмуре приехал в Париж нарочно, чтобы раскрыть исполнительной власти ужасное положение, в котором находились его войска. Он провёл там весь январь. Но докладные записки, которые он направлял исполнительному совету и различным комитетам Конвента, имели лишь одно следствие: Собрание расширило объём полномочий, которыми были облечены представители народа при армиях[18]. Ему лучше удалось добиться одобрения своих планов кампании против Голландии и особенно получить от исполнительной власти отказ от большой экспедиции в Индию, имевшей целью занять Англию её собственными опасностями и отвлечь её внимание от европейских дел. Главнокомандующему бельгийской армией нетрудно было опрокинуть сооружение этих гигантских проектов и доказать, что невозможно достаточно быстро отправить морские силы, необходимые, чтобы захватить англичан врасплох и изгнать их из азиатских владений; что редкость звонкой монеты к тому же предписывает употребить все ресурсы Франции на континентальную войну, на защиту отечества[19].

К несчастью, он не смог помешать другой экспедиции, которую морской министр замыслил уже несколько месяцев и которая была близка к осуществлению.

Итальянские эмигранты уверили исполнительный совет, что народ Сардинии созрел для свободы и что французам достаточно появиться перед этим островом, чтобы их встретили как освободителей. Всегда опасно прислушиваться к внушениям изгнанников. Король Пруссии и император Германии знали, чего им стоило броситься в незнакомую страну без магазинов, без резервов, без продовольствия, в одной лишь надежде, которой льстили им эмигранты, увидеть, как население устремится им навстречу и удовлетворит все их нужды. Ту же ошибку собиралась совершить революционная Франция, отправляя на основании обещаний того же рода свой флот и своих солдат в Сардинию.

Речь шла не более и не менее как о высадке в самое дурное время года на берег, где рифы и песчаные отмели почти повсюду образуют естественную защиту; о завоевании с несколькими тысячами человек обширного и нездорового острова, жители которого обладают дикими и воинственными нравами, сделавшими столь трудным для генуэзцев, а затем для французов подчинение Корсики.

Самые безумные предприятия всегда находят одобрителей. Поэтому и в этом деле не было недостатка в доводах и поощрениях. Это, говорили, наилучшее употребление, какое можно сделать из значительного флота, собранного в Тулоне; самая полезная диверсия, какую можно предпринять, чтобы помешать Пьемонту сосредоточить свои силы в Савойе и графстве Ницца; это должно стать необходимым дополнением нашего господства на Корсике, верным залогом нашего преобладания в Средиземном море.

Как эхо страстей своего родного города, Барбару каждый день упрекал министра за медлительность, которую тот, казалось, проявлял, отдавая последние распоряжения о приготовлениях к экспедиции[20]. Семонвиль, недавно назначенный послом в Константинополь и задержанный колебаниями исполнительного совета в Марселе, проявлял самое республиканское усердие на службе итальянской пропаганды и писал Паоли письмо за письмом, прося его содействия успеху предприятия[21]. Два бывших члена Законодательного собрания, Арена и Перальди, первый в Тулоне, второй в Аяччо, с равным пылом хлопотали, устраняя препятствия, которые могли задержать отплытие флота. Наконец, Комитет общей обороны отправил на Корсику трёх представителей народа — Саличетти, Дельше и Лакомба-Сен-Мишеля, кото-

рым было поручено ускорить организацию волонтеров, долженствовавших составить вместе с несколькими линейными частями десантную армию[22]. Несмотря на столько усилий, приготвления не продвигались. Торговые суда, зафрахтованные уже два месяца назад, простаивали без дела в портах Марселя и Вильфранша.

Удивляться тут нечему: беспорядок и растраты были в администрации морских поставок не меньшими, чем в администрации военных поставок. Когда захотели погрузить сухари, оказалось, что они сгнили; вместо того чтобы распределить запасы пороха по нескольким судам, их почти целиком сложили на одном корабле, который бурей отнесло к итальянскому берегу и который не смог прибыть вовремя. Не было заготовлено ни звонкой монеты для жалования солдатам, ни обуви, ни лагерного снаряжения. Исполнительный совет поручил военным и морским властям Тулона назначить генерала для командования десантными войсками. Адмирал Трюге, бывший в течение трёх месяцев душой экспедиции и, естественно, отводивший флоту самую важную роль, взял по пути на Корсику генерала Казабьянку. Тот не имел ни одного из знаний, необходимых для успешного ведения столь трудного предприятия. Нужен был старший офицер, сделавший первые шаги в американской войне и привычный к морским операциям; нужно было 15 или 20 тысяч человек закалённой и решительной пехоты, хорошо снаряжённая артиллерия и несколько эскадронов кавалерии для разведки перед десантными войсками.

Вместо этого для экспедиции выделили лишь тысячу солдат линейных войск, которых надлежало взять из трёх полков, стоявших гарнизоном на Корсике, шесть тысяч волонтеров департамента Буш-дю-Рон и восьмьсот корсиканских волонтеров. Экипажи флота были наспех набраны в портах Средиземного моря и включали некоторое число клубистов, которые давно привыкли предъявлять и навязывать свою волю начальникам[23]. Шесть тысяч волонтеров Буш-дю-Рон составляли так называемую Марсельскую фалангу. То соединённые в особый корпус, то рассеянные в рядах национальной гвардии, они принимали самое деятельное участие во всех волнениях, театром которых был Юг в течение трёх лет; самые пылкие из них только что с триумфом вернулись в Марсель, побывав в Париже 10 августа и 2 сентября[24]. Генерал Брюне, преемник Ансельма в командовании армией Приморских Альп, выказал весьма малую склонность принимать в свои регулярные войска столь недисциплинированную банду, столь опасное подкрепление. Он поспешил предоставить провансальских волонтеров в распоряжение адмирала Трюге, не заботясь особо о том, как эти солдаты совершенно особого рода поведут себя в предприятии несколько более серьёзном, чем те, героями которых они до сих пор были.

Марсельская фаланга, которая на бумаге, а вероятно, и в смотровых ведомостях, представлявшихся казне, насчитывала шесть тысяч человек, в момент посадки на суда дала лишь четыре тысячи. 8 января 1793 года 39 транспортных судов, эскортируемых несколькими военными кораблями, вышли из Вильфранша и взяли курс на Корсику. Но, подойдя к этому острову, флот был застигнут ужасной бурей. При попытке войти в порт Аяччо несколько больших кораблей погибли, в частности «Мститель», совсем новый 80-пушечный линейный корабль[25]. Другие, более счастливые, смогли пристать без больших повреждений; но большинство укрылось в бухте Сен-Флоран близ Бастии, в частности «Бордоский коммерсант», 74-пушечный корабль, имевший на борту генерала д'Илера-Шанвера, главнокомандующего марсельскими волонтерами.

Два дня спустя, попытавшись снова выйти в море, эта часть флота была отброшена к берегам Прованса и прибыла в Сардинию лишь после прискорбных событий, которые мы сейчас расскажем.

Волонтеры, находившиеся на транспортах, которые смогли пристать в Аяччо, были высажены там, чтобы дожидаться, пока три линейных батальона и корсиканский батальон в свою очередь будут готовы к отплытию. Но между марсельцами и корсиканцами не замедлили вспых-

нуть ссоры и драки[26]. Из опасения, что они возобновятся в Сардинии, решили разделить два отряда волонтёров, из которых ни тот, ни другой не блистал живой любовью к порядку и большим уважением к дисциплине. Прибывшие с берегов Прованса были назначены вместе с большей частью линейных войск составить главную атаку на Кальяри. Корсиканцам было поручено произвести встречную атаку на острова Маддалена, расположенные почти напротив Бонифачо и своим завоеванием долженствовавшие особенно польстить соотечественникам Паоли[27].

VII

Адмирал Трюге ещё в октябре отправил в Неаполитанский залив своего заместителя Латуш-Тревиля требовать от шурина королевы Марии-Антуанетты признания Республики[28]. Поскольку эта экспедиция не могла быть продолжительной, он приказал кораблям, которым поручено было устрашать неаполитанцев, присоединиться к нему на рейде Пальмас у берегов Сардинии.

Один из них, «Леопард», первым прибывает к общему месту встречи. 6 января его капитан Бурдон-Грамон без единого выстрела овладевает островом Святого Петра и полуостровом Святого Антиоха, защищающими рейд. Хорошо принятый населением[29], но не имея десантных войск, он вынужден дожидаться остального флота. Трюге и Латуш-Тревиля, выходя один из Аяччо, другой из Неаполя, переживают череду бурь, которые сильно повреждают небольшое число их кораблей и рассеивают транспортные суда. Наконец 23 января Трюге появляется перед Кальяри и спешит отправить к сардинскому вице-королю парламентёров. Шлюпку с переговорщиками встречают пушечными выстрелами; за отсутствием войск французский адмирал не может немедленно отомстить за оскорбление, нанесённое флагу Республики[30]. К первым числам февраля большая часть флота оказывается в сборе, и можно подумать о высадке небольшой армии[31].

Наступает новый ураган, который приводит все суда экспедиции в невообразимый беспорядок и выбрасывает на берег несколько кораблей, в частности «Леопарда». Когда буря утихает, производят перепись войск и припасов; под рукой лишь четырнадцать сотен линейных солдат[32] и половина марсельской фаланги; флот имеет сухарей не более чем на десять-двенадцать дней. Тем не менее решают продолжать предприятие, ибо надеются с минуты на минуту увидеть прибытие д'Илера-Шанвера с остальной частью фаланги и транспортами, нагруженными продовольствием для экспедиционной армии.

14 февраля восемьсот человек линейных войск, две тысячи марсельцев и шестнадцать пушек высаживаются на так называемом Испанском берегу под защитой трёх фрегатов. Остальной флот остаётся перед Кальяри, готовый произвести диверсию. Вечером бивакируют у моря, а утром 15-го генерал Казабьянка выступает, чтобы атаковать форт Сент-Эликс, господствующий над плато, на обратном склоне которого построена столица Сардинии. Нет ни одной лошади, чтобы везти артиллерийские орудия; канонирам приходится тащить их на руках по крутому песчаному подъёму, ведущему с этой стороны к форту. С первого же часа марсельская фаланга отличается своей недисциплинированностью; она поджигает монастырь и несколько ферм, которые могли бы послужить передовыми постами. Авангард, состоящий в очень большой части из волонтёров, добирается до плато лишь к вечеру. Казабьянка не хочет подвергать себя беспорядку ночной атаки, останавливается в двух-трёх пушечных выстрелах от замка Сент-Эликс и возвращается к главным силам, которые располагает лагерем на середине склона. Но эта предосторожность оборачивается против него. Едва марсельцы авангарда предоставлены самим себе, как, опасаясь быть захваченными, они без приказа и без проводников отступают к лагерю. Их товарищи, слыша среди ночи шумные шаги, воображают, что это неприятель делает вылазку; они стреляют без разбора по приходящим и убивают нескольких. Беглецы, число которых растёт с каждой минутой, бегут к берегу и, не слушая никаких советов, никаких увещаний, требуют немедленной посадки на суда; некоторые гибнут в волнах или сдаются сардинцам.

На рассвете можно осмотреться и лучше понять истинное положение вещей. Казабьянка пытается доказать марсельским волонтёрам, что не всё потеряно, что беспорядок, вызванный ночной тревогой, ещё поправим, что они покроют себя вечным позором, если сорвут экспедицию, которой Республика придаёт большое значение. Трусые перед врагом, дерзкие перед начальниками, уверенные в безнаказанности, они отказываются что-либо слушать. Предавая отечество, они кричат о предательстве; они грозят генералу и его штабу расправой. Солдаты линейных войск, со своей стороны, заявляют, что не хотят больше находиться вместе с этим сбродом головорезов, которые умеют кричать и вешать, но не способны сражаться. Самые опытные офицеры признают, что поражение несомненно, если упорствовать, удерживая подобные войска на вражеском берегу, без крова, без поддержки, при ужасной погоде, свирепствующей на море уже пятнадцать дней. Единственно возможное решение, по их мнению, — немедленно сесть на суда. К остальному флоту, стоящему перед Кальяри, отправляют гонца, чтобы сообщить, что о продолжении предприятия нечего и думать.

Д'Илер-Шанвер наконец прибыл с остальной частью фаланги; во главе своих людей и нескольких линейных частей, оставленных на борту флота, он готовился высадиться на другом склоне горы Сент-Эликс. Но, получив известия, он считает более благоразумным воздержаться. Трюге, в отчаянии видя, как в один миг рушатся все его замыслы, приказывает большей части флота направиться к Испанскому берегу и принять взбунтовавшихся на берегу волонтёров. Тем временем море становится бурным, якорная стоянка опасной; вскоре становится ясно, что посадка на суда невозможна и нужно позаботиться о самом неотложном, то есть об обеспечении армии продовольствием; ибо с минуты на минуту эскадра может быть вынуждена удалиться.

Но — вещь невероятная, если бы все официальные донесения не свидетельствовали о ней — марсельцы отказываются подпустить к берегу моряков, которые среди величайших опасностей приходят им на помощь. Тщетно им кричат, что море и ночь скоро прервут сообщение; они остаются глухи ко всем мольбам, они заявляют, что решительно не желают принимать приносимое им продовольствие, потому что, если снабжение армии будет обеспечено, их начальники захотят продолжать экспедицию, о которой они больше и слышать не желают. Одни встречают ружейными выстрелами матросов, отваживающихся приблизиться к берегу; другие, желая бежать любой ценой, бросаются вплавь, цепляются за шлюпки, рискуя опрокинуть их, погубить своих спасителей и погибнуть самим.

Дважды адмирал посылает к этим неистовым парламентёров, дважды парламентёры встречают тот же приём. Происходит то, что было предвидено. Море становится всё более яростным. Трюге вынужден удалиться в весьма посредственное укрытие, которое предоставляет ему наименее открытая ветрам часть рейда. На берегу совершенно нет продовольствия. Линейные войска предлагают фаланге двинуться прямо на несколько деревень, виднеющихся с берега; они по крайней мере добудут штыком съестные припасы, необходимые, чтобы продержаться, пока не утихнет буря. Но марсельцы предпочитают умереть с голоду на берегу моря, чем идти добывать продовольствие под огнём неприятеля. Они боятся потерять из виду эскадру, словно их взгляды могут удержать её близ берега.

Рискуя сто раз быть выброшенным на берег, Трюге остаётся два дня в этом ужасном положении. «Аретуза» и «Юнона» вынуждены срубить мачты, у «Весталки» сломало руль, шлюпки «Гремящего», «Аполлона», «Кентавра» унесены волнами. Множество баркасов выброшено на рифы; моряки, находящиеся на них, тонут в волнах или, если им удаётся добраться до берега, подвергаются нападению и погибают от рук сардинских крестьян на глазах у тех самых волонтёров, ради спасения которых они жертвуют собой и которые не могут или не хотят им помочь.

Наконец 19 февраля ветер слабеет; хотя море ещё волнуется, сообщение между флотом и армией становится возможным. Главнокомандующий фаланги д'Илер-Шанвер сходит на берег и обращается с речью к своим солдатам, с которыми разлучён уже шесть недель; но ему уда-

ётся не больше, чем Казабьянке тремя днями ранее. Трюге спешит посадить марсельцев на суда, от которых ему не терпится избавиться, и отправляет их к берегам Прованса. Чтобы не казалось, что кампания была совершенно бесполезной, он оставляет на острове Святого Петра и на полуострове Святого Антиоха гарнизон в 700 человек линейных войск под командованием полковника Сайи. Пообещав этому маленькому гарнизону вскоре прислать помощь и продовольствие, он приказывает поджечь «Леопарда», которого все усилия бесстрашного Бурдон-Грамона не смогли снять с мели, затем берёт курс на Тулон[33].

Так завершилась экспедиция против Кальяри. Дурно задуманная, ещё хуже подготовленная, предпринятая посреди зимы, ведённая без согласованности, она стоила флоту его лучших кораблей, казне — огромных сумм; она останется неопровержимым свидетельством непредусмотрительности исполнительной власти и недисциплинированности марсельской фаланги.

Эта банда, набранная во всех клоаках Средиземноморья, вполне могла отправить в Париж отборных своих головорезов для экспедиции, отвечавшей её вкусам и привычкам; но, как только она оказалась вовлечённой в более опасное предприятие, она не устояла перед первой же паникой и подорвала честь французского знамени, которому никогда не следовало бы укрывать под своими складками подобных негодяев.

Члены исполнительной власти и начальники сухопутных и морских сил согласно решили хранить молчание вокруг предприятия, начатого с большим шумом и столь печально провалившегося. «Монитор» лишь в нескольких словах сообщает о его конечном результате; большинство историков едва упоминает о нём. Правда, так же поступили они и в отношении встречной атаки на острова Маддалена, о которой нам остаётся рассказать. Это последнее умолчание заслуживает тем большего внимания, что оно оставило в забвении первый боевой подвиг молодого капитана артиллерии, которому несколько лет спустя предстояло стать императором французов Наполеоном I.

VIII

Небольшой архипелаг Маддалена расположен между южной оконечностью Корсики и северной оконечностью Сардинии. Он состоит из трёх главных островов — Маддалена, Сан-Стефано, Капрера[34], отделённых друг от друга лишь проливами шириной в 700–800 метров. Посреди этих трёх островов находится обширный бассейн, укрытый от ветров и сообщаемый с открытым морем через проливы, о которых мы только что сказали. Это единственная в своём роде позиция в Средиземном море. Не раз Нельсон указывал на неё своим соотечественникам как на более завидную, быть может, чем Мальта или Гибралтар.

Паоли назначил командовать корсиканскими волонтёрами своего собственного племянника Чезари Колонну[35]. Офицерами под его началом были: 1) Квенца, подполковник 2-го батальона волонтёров; 2) Наполеон Бонапарт, совмещавший должность второго подполковника того же батальона с должностью капитана артиллерии в армии[36]; 3) Муадье, капитан инженерных войск. Начальником морских сил был лейтенант флота по имени Гойече, командовавший «Фоветт», 22-пушечным корветом; при нём было 16 малых судов, частью военных, частью транспортных.

Эта эскадра выходит из порта Аяччо 10 января, но добирается до Бонифачо лишь двенадцать дней спустя. Она остаётся там целый месяц, прежде чем снова сняться с якоря, — столь мало желает начальник экспедиции Чезари Колонна покидать Корсику в тяжёлых обстоятельствах, в которых находятся его родина и особенно вождь его партии и его семьи. Наконец 20 февраля поднимают паруса, то есть в тот самый момент, когда Трюге, посадив на суда экспедиционную армию, направленную против Кальяри, удалялся от этого города. Встречная атака уже не имела смысла, но 20 февраля в Бонифачо трудно было знать, что произошло 19-го у южной оконечности Сардинии.

Так как после бурь предыдущих дней наступил полный штиль, каждое судно буксируется своими шлюпками. 22-го прибывают к острову Сан-Стефано; захватывают старую полу-

разрушенную башню, защищающую его. Бонапарт, Муадье, Квенца сходят на берег. На остров перевозят единственную мортиру, которой располагает маленькая экспедиционная армия, и семь пушек. Заботами двух капитанов — артиллерийского и инженерного — их за ночь устанавливают в позицию против фортов и городка Маддалены.

Уже полгода Франция вела войну почти со всей Европой, уже сражались в Шампани, в Бельгии, на Рейне, в Альпах; а тот, кому предстояло наполнить вселенную шумом своих подвигов, ещё не видел огня. Утром 23 февраля Бонапарт, сам наводя мортиру, посылает врагу первую бомбу. Тотчас сардинцы энергично отвечают из фортов Маддалены и из наспех возведённого редута, поставленного так, чтобы доставать до маленькой бухты, где стал на якорь «Фоветт». В течение двух дней пролив, разделяющий острова Маддалена и Сан-Стефано, ежеминутно бороздят снаряды, которыми обмениваются два противостоящих отряда. «Фоветт» служит главной мишенью сардинских пушек; на нём один человек убит, несколько ранено, и он получает сильные повреждения такелажа. Он вынужден укрыться вне досягаемости ядер, на траверзе маленького острова Капрера. Сардинцы тотчас выводят из порта две полугалеры, которые не в силах померяться с французским корветом, но, после того как тот удалился, могут беспокоить прочие суда эскадры.

Утром 25-го атака возобновляется с новой силой; Бонапарт уже надеется, что город, разрушаемый непрерывным огнём, который он ведёт по нему, будет вынужден сдаться. Вдруг Квенца, командующий десантными войсками, пока Чезари Колонна находится на борту «Фоветт», получает от последнего приказ об отступлении.

Что могло быть причиной столь внезапного решения? Согласно официальным документам, это был мятеж экипажа корвета. Моряки заявили, что требуют немедленно отказаться от экспедиции, и лишь с великим трудом согласились дать командиру Колонне несколько часов для посадки войск на суда. Возможно, на борту и произошли какие-то враждебные выступления, но, надо признать, племянник Паоли уступил очень быстро и очень легко желанию нескольких бунтовщиков[37].

Приказ настолько точен, что о неповиновении нечего и думать. К тому же шлюпки эскадры уже ждут войска, а моряки объявляют, что имеют приказ крейсировать перед островом Сан-Стефано лишь в течение времени, строго необходимого для посадки. Квенца, находящийся близ места стоянки, передаёт Бонапарту и Муадье письмо Колонны. Оба офицера читают и перечитывают его несколько раз, прежде чем поверить своим глазам, склоняют голову и вполголоса отдают приказ прекратить огонь. Нужно, однако, вместе с честью знамени спасти и материальную часть. Канониры тащат свои орудия к берегу; но в ту минуту, когда они добираются туда после тысячи усилий и тысячи опасностей, обнаруживается, что шлюпки слишком слабы, чтобы поднять столь значительный груз, и что они к тому же уже полны войск. Бонапарт с яростью в сердце приказывает заклепать, а затем бросить в море мортиру и четыре пушки. Когда все посажены на суда, тотчас берут курс на Корсику[38].

27 февраля эскадра под командованием Гойече бросила якорь в заливе Санта-Манца на Корсике. Волонтёры под предводительством обоих командиров батальонов, Квенцы и Бонапарта, были направлены в Кorte для несения гарнизонной службы.

IX

Чтобы завершить наш рассказ в том, что касается Паоли и Бонапарта, мы вынуждены на несколько месяцев опередить события, театром которых была Корсика в первой половине 1793 года.

Именно в Кorte, среди самых крутых гор острова, словно в орлином гнезде, пребывал Паоли, совмещавший должности председателя Директории департамента и дивизионного генерала, командовавшего Корсикой, соединяя таким образом в своих руках гражданскую и военную власть. Бонапарт, до тех пор бывший одним из самых близких его наперсников, его учеником и почти сыном, находил его всё более озлобленным против Революции и вполне готовым

разорвать узы, которые уже четверть века связывали Корсику с Францией. С другой стороны, каждая почта приносила доказательства недоверия, которое двусмысленное поведение генерала внушало Конвенту и исполнительной власти. В течение нескольких недель Бонапарт колебался между воспоминаниями и стремлениями. До этого момента у него не было иной мысли, как со временем унаследовать влияние Паоли и вернуть независимость своей родине. В Бринне, в Осоне, в Валансе, в двадцати случаях он объявлял себя пылким, страстным противником всех тех из своих соотечественников, кто прямо или косвенно способствовал подчинению Корсики игу тех, кого он называл чужеземцами, *gli foresteri*[39].

Но со времени экспедиции на Маддалену в нём медленно совершался переворот: на смену прежним его честолюбивым замыслам приходили новые. Казалось, сквозь тот огненный дождь, который он в течение двух дней и двух ночей посылал и принимал, перед ним открылись новые горизонты. Он начинал пренебрегать участью стать вершителем судеб маленького острова в Средиземном море; его воображение уже устремлялось в неизмеримые поля будущего.

Последний случай кладёт конец его колебаниям. В последних числах апреля в Кортэ получают копию декрета от 2-го числа того же месяца, которым Национальный конвент вызывает Паоли к своей решётке. Этот приказ падает как удар грома посреди маленького двора, окружающего генерала. Бонапарт, всё ещё верный дружбам своей юности, берётся за перо, чтобы защитить корсиканского героя от нападок его врагов и просить Конвент пересмотреть меру, которая грозит смешать с развращающим злодеем или презренным честолюбцем семидесятилетнего старца, удручённого недугами.

Окончив свою защитительную записку, он сообщает её своему знаменитому клиенту. Но тот, видя, что пора принять решение, и полагая, что может рассчитывать на своего юного и восторженного собеседника, раскрывает ему свои замыслы и заявляет, что решил пренебречь приказами Конвента, даже если придётся броситься в объятия Англии. При этом признании Бонапарт разражается упрёками и проклятиями. Два старинных друга расстаются смертельно рассоренными. Бонапарт, знающий, что такое корсиканская ненависть и месть заговорщика, у которого вырвали его тайну, выходит из дворца генералиссимуса, вскакивает на коня и через горы, окольными тропами, добирается до Сангвинаров — невозделанных земель и непроходимых зарослей, расположенных в трёх лье от Аяччо. Там он скрывается целый месяц, пока не успевает предупредить свою семью и сговориться с комиссарами Конвента, только что высадившимися в Сен-Флоране.

Несколько времени спустя (2 июня 1793 года) чрезвычайное общее собрание корсиканского народа, созванное Паоли, объявило Бонапарта, его родных и сторонников нарушителями общественного спокойствия. Будущий император покинул родной остров, чтобы вновь появиться на нём лишь на мгновение при возвращении из Египта. Его убежище в Сангвинарах стало для него началом новой эры, как для Магомета — его бегство из Мекки; это была хиджра необыкновенного человека, которому тоже предстояло потрясти мир.

Примечания:

[1] За полную картину политики кабинетов в конце 1792 и начале 1793 года мы отсылаем наших читателей ко второму тому «Дипломатической истории Европы во время Французской революции». Этот замечательный труд, принадлежащий перу бывшего дипломата, графа Франсуа де Бургуэна, превосходно посвящает нас в тайные интриги, волновавшие Европу в течение нашей Революции.

[2] См. мотивировочную часть постановления исполнительной власти относительно Шельды («Монитор» от 16 ноября 1792 г., № 328).

[3] См. том V, книга XXIV, § IX.

[4] Нам достаточно лишь напомнить знаменитое письмо от 23 ноября 1792 года, в котором исполнительный совет называл папу простым епископом Рима и предсказывал ему скорое падение. См. это письмо, том V, книга XIX, § XI.

[5] В «Монитёре» от 4 февраля 1793 г., № 35, находятся:

письмо государственного секретаря папского правительства, написанное за несколько дней до событий 13 января, в котором излагаются мотивы отказа, который римский двор счёл нужным противопоставить притязаниям поверенного в делах Франции;

официальное донесение французского консула об убийстве Бассвиля.

[6] «Журналь де Деба э Декре», № 137, стр. 23.

Несколько лет спустя Директория взяла на себя исполнение этой угрозы. В казематах Валанса умер в медленной агонии несчастный старец, которого обрёл мщению Республики конвенционал Жан Дебри. Без сомнения, когда несколько лет спустя он стал при Наполеоне I префектом и бароном, ему не нравилось, что ему напоминают о его яростном выпаде против Святого Отца, равно как и о его знаменитом предложении от 28 августа 1792 года о наборе легиона из 1200 тираноубийц, которому поручалось избавить землю от всех королей и всех императоров.

[7] Депутация Лондонского конституционного общества явилась в конце 1792 года к решётке Собрания поздравить французскую нацию с победами в Бельгии. Председатель Грегуар так ответил на её речь:

«Без сомнения, близится час, когда французы отправятся поздравлять Национальный конвент Великобритании».

[8] См. «Журналь де Деба э Декре», № 136, стр. 4 и след. Речь Бриссо приведена там гораздо подробнее, чем в «Монитёре», № 33.

[9] Том V, книга XIX, § XI.

[10] Ансельм, более счастливый, чем многие из его коллег, пережил революционную бурю. Декрет от 23 жерминаля III года объявил, что против него нет ни одного основательного обвинения, и назначил ему пенсию за выслугу лет. Ансельму было 54 года, когда он завоевал Ниццу. Он умер лишь в 1814 году.

[11] См. «Мемуары графа Мио де Мелито», 1-й том. Этому труду, полному интересных подробностей, можно оказывать самое полное доверие.

[12] Декрет от 13 декабря гласил, что всякий национальный волонтер, покинувший свой пост, будет занесён муниципалитетом места его жительства в список гражданской регистрации как отказавший отечеству в помощи, которую оно у него просило. С другой стороны, тот же декрет обещал пенсию за выслугу лет, обратимую в приобретение национальных имуществ, всем гражданам, которые прослужат без перерыва до конца войны.

[13] Декрет от 8 марта 1793 года.

[14] См. письмо Лакруа от 22 марта. «Журналь де Деба э Декре», № 189, стр. 314.

[15] См. т. II, книга V, § VIII.

[16] См. речь Камюса, «Монитор», № 83, заседание 22 марта.

[17] Мы собрали в конце этого тома конфиденциальные письма Дюмуре, Бернонвиля и Бирона; они могут дать представление о нужде, до которой были доведены французские армии в начале 1793 года.

[18] Заседание 26 января; см. «Монитор», № 28, «Журналь де Деба э Декре», № 130. Вот текст декрета, принятого по этому случаю по предложению Лакруа: «Конвент уполномочивает своих комиссаров принимать все меры, в том числе меры общей безопасности, которые обстоятельства сделают необходимыми; их постановления, принятые или будущие, подлежат временному исполнению, с обязательством для означенных комиссаров в двадцать четыре часа прислать копии постановлений для отмены или подтверждения Конвентом».

Несмотря на настойчивость нескольких монтаньяров, Собрание одновременно постановило, что комиссары при армиях будут по-прежнему назначаться бюро, а не голосованием с поименным вызовом. Демагоги восставали против этого способа, потому что должности председателя и секретарей обычно занимали их соперники. Захватив власть, они передали право назначения Комитету общественного спасения, которым распоряжались, и уже не требовали применения того способа, которого столь горячо добивались несколькими месяцами ранее.

[19] Мы отыскиали протокол заседания, на котором Дюмуре удалось заставить исполнительную власть отказаться от её замыслов относительно Индии.

«Временный исполнительный совет, собравшись в обычный час, после того как был приглашён генерал Дюмуре, приступил к обсуждению средств противостоять усилиям врагов, которые собираются объединиться против Французской республики, и в особенности вопроса о том, должна ли и может ли Республика в эту кампанию вести войну на море одновременно с войной на суше, и, следовательно, подобает ли готовить экспедицию в Индию.

На основании различных фактов, изложенных морским министром, и большого числа соображений, представленных на этом совещании, мнение в целом утвердилось на следующих пунктах:

поскольку французский флот, находящийся в Средиземном море, сильно утомлён бурями; поскольку вооружение 30 кораблей, производимое в Бресте, в действительности не может быть завершено к сроку, на который было объявлено; поскольку неудачный исход некоторых наборов, произведённых в Кале и Булони, даёт основание предвидеть большие трудности в наборе числа матросов, необходимого для этого вооружения; поскольку невозможно отправить в Индию достаточные морские силы прежде, чем англичане успеют направить туда эскадру; поскольку состояние финансов и чрезвычайная редкость звонкой монеты не позволяют надеяться, что можно будет собрать достаточно большую массу наличных денег для покрытия расходов морской войны одновременно с сухопутными армиями, выдвинутыми за пределы Республики; поскольку благоразумие предписывает сохранить большую часть средств для более энергичного ведения наступательной войны на континенте, —

представляется целесообразным пока ограничиться приведением Иль-де-Франса в хорошее оборонительное состояние».

[20] См. речь Барбару, «Монитор» 1793 г., № 34.

[21] В конце этого тома читатель найдёт два документа, удостоверяющих пылкий республиканизм, который исповедовал в 1793 году тот, кто стал великим референдарием Палаты пэров при Реставрации.

[22] Такова была явная миссия трёх комиссаров Конвента; но у них была другая, гораздо более важная: следить за поведением Паоли, чьё всемогущество над соотечественниками было ещё полным, но который уже, казалось, хотел воспользоваться им, чтобы стать независимым. Первые два комиссара пробыли на Корсике лишь несколько месяцев. Лакомб-Сен-Мишель, весьма выдающийся артиллерийский офицер, остался один и вернулся во Францию лишь восемнадцать месяцев спустя (июнь 1794 года). Когда Паоли провозгласил, что все узы

между Корсикой и Францией разорваны, и призвал англичан на помощь, именно Лакомб-Сен-Мишель с силами, весьма незначительными по сравнению с теми, которыми располагал его противник, оказал ему сопротивление и сохранил этот остров для нашего отечества.

[23] Вот как выражается письмо, написанное из Аяччо в «Монитёр» и датированное 31 декабря 1792 года («Монитёр» 1793 г., № 27):

«На борту среди экипажей недостаточно дисциплины; на днях едва не повесили человека, который на следующий день был признан совершенно невиновным в том, в чём его обвиняли возмутители. Этот урок, однако, не пропал даром для матросов; ибо, видя, к каким ложным шагам увлекают их иные профессиональные вешатели, они донесли на одного, который будет изгнан из флота. Прискорбно, что нет более строгого правосудия для этих вешателей, которые делают из убийства забаву, а из хвастовства им — честь. Можно судить о дурных последствиях, какие такое поведение произвело бы в чужой стране».

[24] В конце тома читатель найдёт ряд документов, относящихся к марсельской фаланге; мы к ним и отсылаем.

[25] Не следует смешивать этот корабль с тем, который обессмертил это имя, славно погибнув близ Бреста в конце сражения 10–13 прериаля II года.

[26] Вот что говорится в биографии первых лет Наполеона Бонапарта, составленной полковником де Костоном, — труде, вышедшем в 1840 году и выполненном с самой добросовестной тщательностью:

«Марсельская фаланга вступила в Аяччо с криками „Ça ira, долой аристократов!“ Эти трусливые и жестокие солдаты повесили или „фонарировали“, по выражению того времени, одного ремесленника из Ольмето, жившего в Аяччо, и одного собственника из Сартена. Ту же участь они готовили канонику Антуану Перальди, синдикку общины, который хотел спасти этих жертв, и они принесли бы его в жертву, если бы не помощь солдат отряда Вермандуаского пехотного полка (61-го), которые, вооружившись саблями, прибежали и вырвали бесстрашного священнослужителя у этой разнузданной орды».

[27] Об этих двух экспедициях можно справиться в книге, изданной в 1842 году в Турине бароном Манно, ныне первым председателем кассационного суда Италии, «*Storia moderna della Sardegna*».

[28] См. том V, книга XIX, § XI.

[29] Вот что говорится в письме Бертена, комиссара-распорядителя средиземноморской эскадры, январь 1793 года:

«Все жители этого острова (Святого Петра), будучи собраны в приходской церкви, получили разъяснение принципов свободы и справедливости республиканского правительства, которые они приняли с восторгом; вследствие этого они переименовали название своего острова на остров Свободы. В настоящий момент они приступают к избранию своего муниципалитета и к назначению мирового судьи. Никогда французы не были приняты столь братски и дружелюбно, как этими новыми детьми свободы, достойными её чистотой своих нравов».

[30] В этой шлюпке находились генерал-майор морских сил Вильнёв, комиссар исполнительной власти Перальди и один флорентинец двадцати двух лет, Буонарроти, которому предстояло прославиться как заговорщику. Официальные донесения дают последнему титул «апостола свободы». Это была должность, учреждённая, по-видимому, при всех армиях Республики; Буонарроти занимал её при армии Альп, как Гоншон при армии Бельгии; она состояла в том, чтобы учреждать клубы повсюду, куда проникали французы, наставлять покорённые народы и обращать их в новую веру. Государственная казна, естественно, несла расходы по этим миссиям нового рода. Дантон и Лакруа в официальном отчёте о своих расходах в Бельгии указывают сумму в 1200 франков как выданную ими разным апостолам свободы, посланным в общины для подготовки умов (см. «Исследование о частной жизни Дантона» доктора Робине, стр. 397).

[31] Эскадра уже почти месяц как вышла из порта Аяччо, когда исполнительный совет внезапно одумался и отменил экспедицию следующим письмом:

«Министр иностранных дел гражданину Арена, бывшему депутату Законодательного собрания, в Аяччо на Корсике.

Париж, 12 февраля, II года Республики.

Задержка, граждан, происшедшая в экспедиции против Сардинии, не позволяя более извлечь из неё ту пользу, которой от неё ожидали, было бы желательно отказаться от неё, если дела не зашли слишком далеко; таково по крайней мере моё мнение, и мне показалось, что его разделяют члены Исполнительного совета. В самом деле, в нынешних обстоятельствах эта экспедиция неизбежно привлекла бы в Средиземное море английскую эскадру, которая, закрыв проход через Гибралтарский пролив, была бы крайне вредна для нашей торговли. Уверяют даже, что уже десять линейных кораблей назначены туда. Весьма вероятно, что назначение этой эскадры изменилось бы, если бы задуманная высадка в Сардинии не состоялась.

Как бы то ни было, прошу вас, граждан, не преминуть сообщать мне все сведения, какие вы сможете собрать касательно наших интересов в Средиземном море, и точно уведомлять меня обо всём, что вы узнаете о расположении различных итальянских дворов по отношению к Республике.

Министр иностранных дел
ЛЕБРЕН».

Было слишком поздно. Арена получил конфиденциальное послание Лебрена лишь по возвращении из злополучной экспедиции.

[32] Эти 1400 человек принадлежали почти в равных долях к трём старым полкам — Лимузенскому, Бресскому и Ла-Ферскому.

[33] Обещания Трюге не были исполнены: маленький гарнизон Святого Петра и Святого Антиоха был брошен на произвол своей несчастной судьбы; три месяца спустя он был вынужден сдаться в плен испанскому флоту. Мы приводим в конце тома ряд официальных документов, которые показывают, с одной стороны, насколько эти 700 человек, оставленные без помощи на островке в Средиземном море, были необходимы трём полкам, которым предстояло оспаривать Корсику у Паоли и англичан, а с другой — каковы были в это время страдания этих несчастных жертв пассивного повиновения.

[34] Этот последний остров приобрёл громкую известность благодаря пребыванию на нём в последние годы Гарибальди. Вождь итальянских волонтёров может каждый день из своего убежища созерцать театр первых подвигов того, кто в течение четырнадцати лет был вершителем судеб мира. История часто производит странные сближения.

[35] Чезари Колонна был в 1789 году членом Учредительного собрания; в избирательных протоколах он назван графом Колонна де Чезари-Рокка, капитаном корсиканского провинциального полка. Он был депутатом не от дворянства, а от третьего сословия. В конце 1792 года он был полковником 28-й дивизии жандармерии в Бастии.

[36] Бонапарт отсутствовал в своём полку уже более года. 1 октября 1791 года он получил трёхмесячный отпуск и покинул Валанс, чтобы отправиться к своей семье; но по истечении отпуска он не вернулся в свою часть и остался в родном краю, где принял должность капитана-адъютанта-майора батальона корсиканских волонтёров. Говорят, что на смотре в конце года (1791), поскольку он не уведомил начальников своего полка о причинах, оправдывавших его отсутствие, он был вычеркнут из списков армии или близок к тому. Именно Поццо ди Борго, тогда генеральный синдик департамента, двадцать лет спустя русский посол на Парижском конгрессе, обратился к военному министру с ходатайством об урегулировании положения своего молодого соотечественника; именно Нарбонн, впоследствии адъютант императора Наполеона и его посол в Вене, удовлетворил это ходатайство 14 января 1792 года. С тех пор Бонапарт мог принять должность адъютанта-майора, а затем вскоре и второго подполковника

того же батальона. Тем временем (6 февраля 1793 года) он получил патент капитана артиллерии, подписанный рукой Людовика XVI. Таким образом, Бонапарт совмещал две должности — одну в национальной гвардии, другую в армии. У него на мгновение возникло желание отказаться от последней, если верить письму, написанному им 27 февраля 1793 года его другу Сюси, военному комиссару в Валансе; письмо это начинается так: «В этих трудных обстоятельствах почётный пост доброго корсиканца — находиться в своей стране. Именно в этой мысли мои близкие потребовали, чтобы я остался среди них. Однако, поскольку я не умею идти на сделку со своим долгом, я намеревался подать в отставку. Затем генерал-офицер департамента предложил мне *mezzo termine*, которое всё примирило: он предложил мне место адъютант-майора в волонтёрских батальонах».

В мае 1793 года Бонапарт покинул Корсику, лишь проехал через Валанс, где всё ещё находился его полк, и отправился в Париж. Там он присутствовал как простой зритель при событиях 20 июня и 10 августа. Он был там ещё в первые дни сентября, поскольку 1-го числа этого месяца подписывал в муниципалитете Версаля документы, необходимые, чтобы забрать свою сестру Элизу из Сен-Сирского заведения и увезти её с собой к семье. На Корсику он прибыл в первых числах октября 1792 года.

[37] Мы приводим в конце этого тома полное собрание официальных документов, которые Паоли отправил в первых числах марта военному министру для оправдания поведения своего племянника; при чтении их чувствуется, что они были вырваны у подписавших настояниями и что им следует оказывать лишь весьма умеренное доверие.

[38] Об этой экспедиции на Маддалену у Бонапарта навсегда сохранилось тягостное воспоминание. На него невозможно было возложить ни малейшей доли ответственности за события, которые мы рассказали, но экспедиция эта завершилась неудачей, а будущий император французов прежде всего обладал суеверием успеха. Поэтому он никогда не хотел датировать своё боевое крещение 23 февраля, а всегда — 22 сентября 1793 года, когда по формальному приказу Комитета общественного спасения, за которым он сам ездил в Париж, принял командование артиллерией при осаде Тулона. Никогда в самых сокровенных своих признаниях он не делал намёка на этот эпизод своей юности. На Святой Елене, то в излияниях, с такими подробностями переданных господином де Лас-Казом, то в мемуарах, продиктованных генералу Гурго и господину де Монтолону, ему неоднократно случалось говорить об экспедиции против Кальяри; но он никогда не упоминал о встречной атаке на Маддалену и о своём участии в ней. (См. том 1-й «Мемориала Святой Елены» и том 1-й «Мемуаров, продиктованных генералу Гурго».)

С другой стороны, известна совершенно особая привязанность, которую Бонапарт питал ко всем, кто олицетворял для него воспоминания юности, особенно к Дюроку, Мармону и Жюно. Известен блестящий путь, который он открывал всем, кто близко или отдалённо соприкасался с ним в начале его военной карьеры. Инженерный капитан Муадье, его товарищ по биваку на острове Сан-Стефано, не удостоился той же благосклонности; он долго томился в младших чинах и лишь с большим трудом, к концу империи, дослужился до бригадного генерала.

[39] По этому поводу можно справиться с замечательной историей Наполеона I, публикуемой в настоящее время господином Ланфре, и со статьёй, помещённой в 1842 году в «Ревю де Дё Монд», 4-я серия, 29-й том. Автор этой статьи, господин Либри, имел в своём распоряжении большое число рукописей, доверенных Бонапартом кардиналу Фешу в эпоху Консульства. Для подтверждения наших утверждений приведём несколько выдержек из писаний, вышедших из-под пера будущего императора французов, когда он был простым артиллерийским лейтенантом:

«Генерал, я родился, когда отечество погибало! Тридцать тысяч французов, извергнутых на наши берега, топящих трон свободы в потоках крови, — таково было отвратительное зрелище, которое первым поразило мой взор». (Письмо к Паоли, 1789 г.)

«Какое зрелище увидел бы я в моей стране? Мои соотечественники, отягчённые цепями, с трепетом лобызают руку, которая их угнетает... Французы, не довольствуясь тем, что отняли у нас всё, что мы лелеяли, вы ещё развратили наши нравы. Нынешняя картина моей родины и бессилие изменить её — лишняя причина бежать от земли, где я вынужден по долгу восхвалять людей, которых должен ненавидеть по добродетели». (Собственноручная заметка о самоубийстве, найденная господином Либри среди бумаг, доверенных кардиналу Фешу.)

«Паоли добился вашего назначения для переговоров в Версале о соглашении, которое завязывалось при посредничестве этого кабинета. Господин де Шуазель видел вас и узнал вас. Души известного закала бывают оценены сразу. Вскоре вместо представителя свободного народа вы превратились в приказчика сатрапа. Часть патриотов погибла, защищая свою независимость, другая бежала с земли, обречённой проскрипции, отныне отвратительного гнезда тиранов; но многие не могли ни умереть, ни бежать; они стали предметом преследований: французскую империю можно было утвердить лишь на их полном уничтожении.

О Ламет! о Робеспьер! о Петион! о Вольней! о Мирабо! о Барнав! о Байи! о Лафайет! Вот человек, который осмеливается сидеть рядом с вами! Весь обгагрённый кровью своих братьев, запятнанный преступлениями всех видов, он с уверенностью является в генеральском мундире — единственной награде за его злодеяния! Он осмеливается называть себя представителем нации — он, который её продал!» (Письмо Бонапарта к господину Маттео ди Буттафуоко, лагерному маршалу королевских армий, депутату корсиканского дворянства в Национальном учредительном собрании, 23 января 1791 г.)

Наконец, обратимся к письму от 26 февраля 1792 года, которое мы цитировали выше; оно одно доказало бы, что до экспедиции на Маддалену Бонапарт сохранял все чувства доброго корсиканца.

КНИГА XXVIII. — ВТОРЖЕНИЕ В ГОЛЛАНДИЮ

I. Обсуждение организации армии. — II. Законы от 24 и 26 февраля, регулирующие эту организацию. — III. Выпуск 800 миллионов ассигнатов. — IV. Декрет от 31 января о созыве первичных собраний в Бельгии. — V. Аннексия бельгийских провинций и Льежской области. — VI. Дюмурье вторгается в Голландию. — VII. Декрет от 2 марта, изданный в предвидении завоевания Голландии. — VIII. Коалиция возобновляет наступление. Эвакуация Льежа. — IX. Возвращение Дюмурье. Он восстанавливает порядок в Брюсселе. — X. Он пишет Конвенту письмо от 12 марта.

I

Конвент был полон решимости противостоять европейской коалиции и даже взять на себя инициативу нападения по нескольким направлениям. Он понимал, что прежде всего необходимо реорганизовать управление армией, провести новые наборы людей, создать новые финансовые ресурсы. Уже с 1 января он сформировал Комитет общей обороны, в котором должны были сосредоточиваться все предложения, относящиеся к войне. Доклады этого Комитета должны были иметь приоритет перед всеми прочими и постоянно стоять в повестке дня. Он должен был состоять из восемнадцати делегированных членов — по три от каждого из комитетов: военного, морского, колониального, финансового, дипломатического и конституционного; вскоре число их было доведено до двадцати одного и даже до двадцати пяти. Заседания его проходили почти публично; все депутаты имели право присутствовать на них, правда, без права решающего голоса. От подобного учреждения нельзя было ожидать ни большой силы, ни большой тайны; потому и плоды его размышлений часто оказывались более теоретическими, нежели практическими. Сийес представил от его имени обширный труд о военном министерстве и зависящих от него службах. Барер посвятил аналогичный труд морскому министерству. Эти два доклада послужили основой для весьма продолжительного обсуждения, которое ни к чему не привело. Иначе, к счастью, обстояло дело с докладом, в котором 25 января Дюбуа-Крансе представил общий план реорганизации французской армии.

На бумаге у нас было триста тысяч бойцов, в действительности же — не более ста пятидесяти тысяч. В момент добровольной записи и формирования вольных отрядов, в августе и сентябре 1792 года, масса лиц добилась присвоения или самовольно присвоила себе чины совершенно незаконным образом. Штаты были сформированы для армии по меньшей мере в восемьсот тысяч человек; командиры остались, но многие солдаты вскоре исчезли. Из пятисот семнадцати батальонов национальных волонтеров триста восемьдесят два представили ведомости о своём составе, сто тридцать пять — не представили. Из трёхсот восьмидесяти двух некоторые насчитывали под знамёнами менее ста человек, а численность ста тридцати пяти, по всей вероятности, была ещё меньше. Одновременное существование такого множества разрозненных корпусов, не знавших друг друга, до такой степени усложняло управление, что ни министр, ни генералы не могли в течение последней кампании следить за подробностями и давать всем войскам полезное направление.

В интересах как финансов, так и командования следовало воспользоваться огромной пустотой, образовавшейся в рядах армии, чтобы реорганизовать её до основания и национализировать, по выражению Дюбуа-Крансе.

Этого результата, по мнению докладчика, надлежало достичь тремя главными мерами: 1° уравнивать жалованье линейных войск с жалованьем волонтеров; 2° составить новые полки путём слияния одного старого линейного батальона с двумя батальонами волонтеров; 3° применить к новым полкам такой порядок продвижения по службе, в котором сочетались бы выборы, применявшиеся тогда в оседлой и действующей национальной гвардии, с правами

выслуги лет и возможностью назначения по выбору — порядком, сохранявшимся в линейных войсках.

Прения, вызванные докладом Дюбуа-Крансе, заняли несколько заседаний; высказывались самые различные мнения. Попытаемся дать представление об этом обсуждении, приведя несколько отрывков из речей главных ораторов, которые, впрочем, чаще состязались в красноречии и воодушевлении, нежели в логике и опытности[1].

Барер. — Невозможно желать в настоящий момент реорганизовать армию. Батальоны волонтёров, эти бесчисленные фаланги, рассеянные повсюду, не знают иного слияния, кроме слияния свободы и победы. Свобода не желает крупных армейских корпусов. Многочисленные батальоны, разделённые своим устройством, суть наименее опасные элементы общественной силы. Но, впрочем, как можете вы в нынешнем положении произвести слияние, предлагаемое Дюбуа-Крансе? Армия Валанса состоит почти целиком из линейных войск, армия Дюмуре — почти целиком из волонтёров... Разве неизвестно, в каком мы положении? Сорок две тысячи пруссаков стоят у ворот Лонгви; Кюстин окружён армией, превосходящей его собственную; флоты Англии крейсируют в наших морях; Голландия и Испания ведут большие приготовления...

— Тем лучше! — восклицает голос с крайней левой.

— Да, тем лучше! — продолжает Барер. — Я знаю французов. Число врагов не уменьшит их мужества, а лишь умножит его. В прошлом году мы заставили чужеземца раскаться в том, что он осмелился осквернить землю свободы, и однако наши армии представляли собою беспорядок новой и поспешной организации. И с этим величественным и грозным беспорядком они совершат и вторую кампанию. Деспоты Вены, Берлина, Мадрида и Лондона не произносят ни речей, ни докладов, ни планов; они собирают, пополняют свои армии и предлагают нам сражение; примем же его.

Сен-Жюст. — Единство Республики требует единства в армии. У отечества лишь одно сердце. Нельзя допустить, чтобы дети его делили это сердце мечом. Я знаю лишь одно средство противостоять Европе — противопоставить ей гений свободы. Утверждают, будто военные выборы ослабят и расколют армию, будто непостоянство продвижения может отвлечь командиров, склонить солдат к распушенности, ослабить дисциплину и подорвать дух подчинения. Все эти трудности напрасны: нужно победить армию, если вы хотите, чтобы армия в свой черёд побеждала. Разве отечество — раб своих воинов? Если вы оставите назначения на столь многие должности в руках генералов или исполнительной власти, вы сделаете их могущественными против вас самих и восстановите монархию. Общее правило: монархия вскоре появляется там, где исполнительная власть распоряжается честью и продвижением. Нужно, чтобы приходящая министров перестала быть лавкою государственных должностей; нужно, чтобы среди нас не осталось ничего великого, кроме отечества. Республику можно создать лишь ценой умеренности и добродетели. Что общего между славой и богатством? Избрание частных начальников каждого корпуса есть гражданское право солдата. Право это должно осуществляться лишь внутри самих корпусов. Столь ограниченное, оно не может быть опасно для Республики. Но армия не может ни собираться, ни совещаться; выбор тех, кому вверено спасение народа, принадлежит представителям народа. Генералы должны избираться Конвентом.

Гарро. — Ламеты в Учредительном собрании, Дюма и Воблан в Законодательном собрании беспрестанно говорили о недисциплинированности. Так вспомните же, что совершили ваши волонтёры на равнинах Шампани, что совершили они при Жемаппе; они были недисциплинированны в вашем смысле, и однако победили. Так вот, они победят ещё, и таким образом ответят клеветникам.

Гарнье (из Сента). — Система Комитета общей обороны утверждает великие принципы; она устанавливает единство силы, единство устройства, единство вознаграждения; она сближает всех защитников отечества узами равенства; но время ли теперь превращать наши полки

в избирательные корпуса? Время выборов — время волнений и интриг; происки пройдут по всем рядам армии, от солдата до капитана, каждый станет домогаться голосов и устремит свои помыслы и заботы к чину, тогда как всё его честолюбие должно быть направлено к победе.

Серр (из Верхних Альп). — Право избирать, кажется, влечёт за собою право отрешать от должности. Какая опасность не возникла бы для общественного дела, если бы солдат был отдан всем внушениям недоброжелательства, если бы офицер был подвержен всем капризам и всем интригам своих подчинённых? Более того, Дюбуа-Крансе предлагает вам производить голосование вслух; разве он не знает, что в некоторых батальонах чины выставлялись на продажу? Разве он хочет видеть повторение подобных скандалов?

Инар. — Не ставьте вечно офицеров между их выгодами и их обязанностями: они предпочтут свои выгоды. Отсюда низость средств, употребляемых для приобретения благосклонности солдат; отсюда ослабление воинских нравов, то есть разрыв той электрической цепи, которая столько раз вела французскую армию к победе. Но, говорите вы, вы хотите отнять у национальных гвардий их права... Их права!.. Когда отечество требует одного из своих сынов для своей защиты, будь то как генерала или как солдата, у него нет более прав, у него есть лишь обязанности.

Бюзо. — Сохраним продвижение по выслуге лет. Это система, за которую говорит опыт всех времён и всех народов; это способ самый скорый в военное время, единственно применимый, когда батальоны разбросаны отрядами. Побоймся ослабить строгость дисциплины; не будем менять пружины машины в тот момент, когда она находится в действии; будем сражаться, как сражались победители при Жемаппе. С наступлением мира у нас будет досуг выслушать людей систем.

Обри. — Я повинуюсь своему разуму и своему опыту, говоря вам: если у вас есть штаты для восьмисот тысяч человек, сократите их; но прежде всего сохраните под знамёнами линейных капитанов и лейтенантов, имеющих тридцать и сорок лет службы[2]. Пассивное повиновение, без которого нет успеха на войне, невозможно между гражданином, который избирает, и гражданином, который избран. Равенство прав не даёт равенства ума и храбрости.

II

Несмотря на все частные критические замечания, система, представленная Комитетом общей обороны, восторжествовала почти по всем пунктам и была закреплена законами 24 и 26 февраля, которые мы вкратце разберём.

Всякое различие или разница в устройстве и жалованье между линейными полками и батальонами волонтёров отменяется. Армии Республики получают путём слияния одного линейного батальона с двумя батальонами волонтёров единообразную организацию. Исполнение этой организации откладывается до конца кампании 1793 года. Но всё заранее устроено таким образом, чтобы она могла быть осуществлена одним ударом в нужный момент. Состав штабов изменяется, и наименования высших чинов приводятся в соответствие с новой системой. Подполковники становятся командирами батальонов и эскадронов, полковники — командирами бригад, лагерные маршалы — бригадными генералами, генерал-лейтенанты — дивизионными генералами, армейские генералы — главнокомандующими. Достоинство маршала Франции упраздняется. Во всех чинах, кроме чинов командира бригады и капрала, продвижение должно производиться на одну треть по выслуге лет, на две трети по выбору, но внутри того батальона, где откроется вакансия. Командиры бригад всегда будут назначаться по старшинству из трёх командиров батальонов полубригады. Капралы будут назначаться волонтёрами роты. Часть мест, отведённых выбору, будет замещаться посредством двухстепенных выборов: все солдаты, унтер-офицеры и офицеры роты представляют трёх кандидатов офицерам того чина, который надлежит заместить, а те обязаны выбрать достойнейшего из трёх. Командиры корпусов будут обязаны в момент открытия вакансии замещать должности, оставленные за выслугой лет. Должности бригадного генерала будут даваться командирам бригад: одна треть

— по старшинству, две трети — по выбору военного министра с отчётом Законодательному корпусу; то же самое будет и для дивизионных генералов. Главнокомандующие будут иметь лишь временные поручения; исполнительная власть будет избирать их из числа дивизионных генералов с явно выраженным утверждением Национального собрания[3].

Линейным войскам жалование увеличивается и приводится к уровню жалования волон­тёров, которые прежде были в более выгодном положении. Но люди, их составляющие, будучи завербованными, обязаны оставаться под знамёнами до заключения мира, чтобы иметь право на пенсии и награды. Волонтёры связаны обязательством лишь на одну кампанию; те из них, кто продолжит службу в течение всей войны, будут получать повышенную плату.

Всякий военный, уволенный в отставку по заключении мира и прослуживший десять лет, причём кампании считаются вдвойне, должен получать пенсию, которая увеличивается за годы службы сверх десяти лет.

Те, у кого не будет десяти лет службы, получают пособие в 60 ливров за одну кампанию, в 150 — за две, в 300 — за три, в 500 — за четыре и т. д. Защитники отечества — волонтёры и линейные солдаты — смогут обменять свои пенсионные свидетельства на национальное имущество, которое они смогут приобрести из расчёта десяти процентов: 300 ливров пенсии соответствуют имуществу стоимостью в 3000 ливров.

Имущество эмигрантов на сумму в 400 миллионов предназначается для этих приобретений, совершаемых в обмен на военные пенсии.

Все французские граждане от восемнадцати до сорока лет, неженатые или вдовцы без детей, находятся в состоянии постоянной реквизиции, пока не будет достигнута цифра в триста тысяч человек для доведения французской армии до полного состава.

Контингент каждого департамента определяется пропорционально его населению и числу волон­тёров, уже поставленных им в сухопутные и морские армии.

Через двадцать четыре часа после получения закона, определяющего этот контингент, директории департаментов произведут развёрстку людей, подлежащих поставке дистриктами их ведения; в тот же срок директории дистриктов установят контингент каждой коммуны.

Директория департамента обязана направить по одному комиссару в каждый дистрикт, а каждый дистрикт — по одному в каждый кантон, чтобы следить и наблюдать в различных коммунах за операциями, относящимися к набору.

Администраторы, составляющие директории департаментов и дистриктов, генеральные прокуроры департаментов и дистриктов, прокуроры-синдики коммун, мэры и муниципальные чиновники, члены гражданских и уголовных судов, секретари судов, национальные комиссары, мировые судьи, сборщики дистриктов освобождаются от участия в этом призыве.

В течение трёх дней во всех коммунах Республики будет открыт реестр, в который будут вписываться все желающие посвятить себя защите отечества. В коммунах, где добровольная запись не даст всего числа требуемых людей, граждане, созванные для этой цели, будут обязаны дополнить это число. Эта операция должна быть произведена безотлагательно посредством жребия, прямого назначения или любого иного способа, который большинству сограждан угодно будет принять.

Это, как видно, широко открывало дверь произволу местных тираний — из всех тираний самой трудно сдерживаемой и самой невыносимой. Конвент сделал ещё один шаг по этому гибельному пути, нарушив принцип необратимости закона: он объявил, что граждане, которые выставляли вместо себя заместителей при прежних наборах, всё равно будут обязаны участвовать наряду с прочими гражданами в нынешнем наборе.

III

Одновременно с реорганизацией армии следовало подумать и о нерве войны — о финансах. Но людей ещё легче извлечь из-под земли, нежели экую. В подобном деле опасно полагаться на воодушевление нации; деньги не так легко увлечь, как сердца.

Камбон, постоянный докладчик Финансового комитета, выходит 1 февраля на трибуну и разворачивает малоутешительную картину положения. Его доклад констатирует следующие факты:

К 1 февраля 1793 года ассигнатов было уже изготовлено более чем на 3 миллиарда. За вычетом тех, что возвратились и были уничтожены, в обращении остаётся более 2 миллиардов 300 миллионов. Государственное казначейство почти пусто, в наличии остаётся лишь около 30 миллионов. Недоимки по налогам достигают огромной цифры в 680 миллионов. Обычные поступления, как от прямых, так и от косвенных налогов[4], составляют 220 миллионов; правда, к этой цифре прибавляется 41 миллион патриотических пожертвований, но трудно надеяться на столько же в следующие годы.

С тех пор как началась война, Республика расходует по 200 миллионов в месяц; покрыть столь непомерные расходы могут лишь чрезвычайные ресурсы совершенно особого рода. Эти ресурсы — имущества духовенства и эмигрантов. Из первых уже продано на 1850 миллионов, остаётся продать лишь на 380 миллионов. Теперь надлежит извлечь средства из вторых, присоединив к ним имущества гражданского листа, имущества Мальтийского ордена и коллежей, наконец, епископские дворцы, которые будут отобраны у новых епископов с выплатой им квартирного возмещения. Число эмигрантов можно оценить в семьдесят тысяч, а стоимость их собственности — в 5 миллиардов, из которых 2 хватит на уплату долгов прежних владельцев.

Остающиеся в распоряжении 3 миллиарда, продолжает Камбон, более чем достаточны, чтобы с успехом довести до конца войну против европейских деспотов. Таким образом, бывшие привилегированные, ополчившись против нас, сами дадут средства отразить врагов, которых они на нас натравливают, поддержать национальный суверенитет, который они отрицают, утвердить свободу и равенство, которые они презирают.

Наконец, есть ещё один ресурс, который монтаньярский финансист широко вводит в расчёт, — это возмещение, причитающееся Республике от наций, освобождённых благодаря нашему победоносному оружию от ига их тиранов. Революции, говорит он, не могут совершаться с помощью чрезвычайных налогов, потому что эти налоги ложатся на трудящуюся и неимущую часть народа; они не могут совершаться посредством займов, потому что никто не хочет давать займы нации, которая, желая быть свободной, ещё не имеет правительства[5]. Итак, освобождённым народам не остаётся иного средства, как обратиться в деньги стоимость своих национальных имуществ, чтобы расплатиться с нами. Они это сделают, не сомневайтесь.

Убеждённое доводами докладчика, Собрание без прений принимает заключения Финансового комитета, который предлагает создать 800 миллионов новых ассигнатов, обеспеченных имуществами эмигрантов, поскольку имущества духовенства уже поглощены.

IV

Поскольку средства в людях и деньгах были таким образом предварительно обеспечены, следовало подумать о том, чтобы в короткий срок получить возмещения, причитающиеся от наций, которым была дарована свобода. Из всех этих наций наиболее способной щедро оплатить расходы на войну, перенесённую на её территорию, была богатая Бельгия. Но надлежало соблюсти хотя бы некоторые формы и не показывать, будто мы обязаны лишь воодушевлению народов тем, что могли бы истребовать силой оружия. Впрочем, можно ли, не попирая принципов умеренности и бескорыстия, ещё недавно столь громко провозглашённых, включить эти провинции в состав Республики прежде, чем граждане будут опрошены, хотя бы для виду, прежде, чем новые власти, следуя примеру савойских муниципалитетов, подадут сигнал к присоединению?

Но эти власти, по-видимому, не расположены предаваться демонстрациям, которых комиссары исполнительной власти считают себя вправе от них ожидать. Они состоят, по крайней мере в значительной части, из граждан, связанных со страной семейными отношениями и значительными интересами. Несмотря на своё происхождение[6], они вскоре начали проти-

воедействовать требованиям, с каждым днём всё более невыносимым. Поэтому агенты исполнительной власти, чувствуя, что опора, на которую они рассчитывали, ускользает у них из-под ног, спешат искать её в народных обществах.

Эти общества образовались во всех городах Бельгии. Поначалу их посещали сторонники новых идей, к какому бы оттенку они ни принадлежали; но вскоре, как это случилось и во Франции, буйные изгнали умеренных, и местный элемент мало-помалу был вытеснен элементом чужеземным.

Через несколько недель после своего возникновения клубы уже не имели иных приверженцев, кроме лиц, делающих из патриотизма и свободы ремесло и товар, не имеющих иного права гражданства в городах, куда они слетаются, кроме внушаемого ими страха и совершаемых ими злодеяний. Священники-отступники, расстриги-монахи, сбежавшиеся со всех концов Европы, поставщики с сомнительной честностью, администраторы, за которыми водятся кое-какие грешки, искатели приключений всякого происхождения, интриганы в поисках должности, под сенью которой можно было бы безнаказанно творить самые наглые хищения, — все они назначили друг другу свидание в народных обществах, занимали там главные должности, оглашали трибуну своими поджигательскими предложениями и присваивали себе право говорить от имени бельгийского народа.

Из трёх корифеев брюссельского клуба двое были французами: Шепи, один из комиссаров исполнительной власти, и Эстьен, набравший шайку головорезов, с которой он якобы поддерживал порядок в столице Брабанта и окрестных коммунах[7]. Третий был бельгийцем, но, чтобы перещеголять парижских демагогов, гордившихся званием санкюлотов, он велел называть себя Шарлем-без-рубahi.

Декрет от 15 декабря ввёл в Бельгии революционные порядки, уже давно применявшиеся во Франции: секвестры, конфискации, ассигнаты и т. д. Муниципальные власти встретили его с оцепенением, народные общества — с восторгом. Почти все города Бельгии направили в Конвент адреса с просьбой отменить его или по крайней мере смягчить[8]. В них ссылались на принципы всеобщего братства и полного суверенитета народов, столь громко провозглашённые французским Собранием; в них напоминали обещания, содержащиеся в прокламациях Дюмуре в тот момент, когда он ступил на землю Нидерландов[9]. «Вы, — говорилось там в тысяче различных форм, но с неотразимой логикой, — вы наши союзники, наши друзья, наши братья; вы не наши завоеватели и не наши господа. Если Национальный конвент Франции издаёт декреты, подлежащие исполнению в Бельгии в отношении лиц и вещей, что станет с суверенитетом бельгийского народа? Этот суверенитет должен иметь те же свойства, что и суверенитет французского народа; следовательно, он един, абсолютен, неделим, неотчуждаем. Он либо полон, либо ничтожен, ибо не бывает ни полусвободы, ни полусправедливости».

Конвент весьма мало считался со всеми этими адресами: он отослал их в Дипломатический комитет с секретной рекомендацией похоронить их в его бумагах. Напротив, он благосклонно принял постановление, принесённое ему 8 января делегатами Народного общества Брюгге, которые требовали: 1° не придавать никакого значения протесту, заявленному временной администрацией этого города против декрета от 15 декабря; 2° создать новый французский департамент с главным городом в Брюгге; 3° сохранить в качестве национального комиссара в этом городе гражданина Ста, бывшего прокурора-синдика дистрикта Лилль, чьи таланты и патриотизм были известны[10].

Камбон, поддержанный жирондистом Луве и монтаньяром Осселеном, потребовал и добился того, чтобы исполнительная власть была обязана отчитаться о том, что она уже сделала для применения декрета. Это значило молчаливо подтвердить его и ответить отказом на неоднократные жалобы Бельгии. Обманутые в своей надежде добиться хотя бы некоторого смягчения мер, вызванных Дантоном и его коллегами, муниципальные власти решили воспользоваться созывом первичных собраний, предписанным самим декретом, чтобы добиться

избрания бельгийского конвента, который, говоря от имени всей нации, имел бы, быть может, больше шансов быть услышанным.

Дюмуре с живейшим неудовольствием видел, что руководство умами ускользает от него в стране, которую он считал своим завоеванием. Поэтому он живо поощрял эту идею, а возможно, и внушил её многочисленным друзьям, которых завёл себе в большинстве фламандских местностей. Но эта попытка собрать в одном собрании все живые силы страны разбилась о местные антипатии и кастовые предрассудки. Впрочем, комиссары Конвента быстро навели порядок в этих поползновениях к независимости. Постановлением за подписью Дантона, Лакруа и Госсюэна выборщикам, назначенным первичными собраниями, было запрещено собираться под страхом преследования как нарушителей общественного спокойствия. Зато всё, что могло ускорить присоединение, встречало благосклонный приём. Первое официальное требование пришло из Льежской земли. 23 декабря временные администрации двух небольших городов, Спа и Тё, созвали своих сограждан для голосования за низложение князя-епископа, разрыв всякой связи с Германской империей и присоединение к Франции. Льеж и все окрестные коммуны вскоре выразили то же пожелание.

На заседании 31 января, в тот самый момент, когда Конвент только что объявил графство Ниццу неотъемлемой частью Французской республики, Дантон бросается на трибуну.

«Не только от своего имени, — говорит он, — но от имени всех комиссаров, посланных вами в Бельгию, я пришёл требовать такого же декрета для бельгийского народа. Это присоединение вы уже предрешили вашим декретом от 15 декабря. Я ничего не требую от вашего воодушевления, всё — от вашего разума. Пределы Франции начертаны природой: на берегах Рейна, у подножия Альп должна окончиться наша республика. Никакая держава не может остановить нас; напрасно нам грозят гневом королей. Вы бросили им перчатку, и эта перчатка — голова тирана. Будем же думать лишь о развитии национальной силы, пошлём комиссаров во все коммуны Республики, чтобы требовать людей и оружия, и устремим всю Францию на наших врагов. Что до Бельгии, то простолюдин и земледелец хотят присоединения; они созрели для свободы, они достойны быть связанными с Францией нерасторжимыми узами. Лишь потому, что малодушные патриоты сомневаются в этом присоединении, исполнение вашего декрета от 15 декабря встречает противодействие. Провозгласите его, заставьте исполнять французские законы — и тотчас священники-возмутители, крамольные аристократы будут, в силу этих законов, очищены с земли свободы. Когда это великое очищение совершится, у нас прибавится и людей, и сокровищ. Я заключаю к немедленному присоединению».

Камю, Лакруа, Камбон, то есть сами творцы декрета от 15 декабря, высказываются в том же смысле, что и Дантон, и обвиняют во всём зле временные администрации.

«Это так называемые представители бельгийского народа, — восклицает Камю, — клеветают на намерения Конвента, это они обвиняли нас в желании посягнуть на суверенитет этого народа, это они препятствуют действиям первичных собраний». — «Так опросите же, — прибавляет Камбон, — бельгийцев и льежцев о том образе правления, какой они желают иметь, и немедленно отправьте Дантона и Лакруа обратно в Бельгию для наблюдения за исполнением мер, которые вы примете».

Тотчас зачитывается декрет, приготовленный заранее; ему предшествовала мотивировочная часть, которую с полным правом можно было счесть горькой насмешкой.

«Национальный конвент, осведомлённый о том, что в некоторых странах, ныне занятых армиями Республики, исполнение декретов от 15, 17 и 22 декабря было остановлено врагами народа, объединившимися против его суверенитета, постановляет нижеследующее:

1° Три вышеуказанных декрета будут немедленно исполнены; генералы армий Республики обязуются принять все необходимые меры для проведения первичных собраний. 2° Комиссары, посланные Конвентом для братания с народами, будут временно решать все вопросы, могущие возникнуть относительно формы и действий первичных собраний, а равно

действительности голосований; они обеспечат свободу собраний; они могут действовать совместно или порознь, с тем, однако, чтобы их собиралось не менее двух. 3° Народы, собравшиеся в первичные собрания, приглашаются выразить своё пожелание относительно той формы правления, какую они желают принять. 4° Народы городов и территорий, которые не соберутся в течение двух недель, самое позднее, со дня обнародования настоящего декрета, будут объявлены не желающими быть друзьями французского народа. Республика будет обращаться с ними, как с народами, отказывающимися принять и образовать правительство, основанное на Свободе и Равенстве».

Это было достаточно ясно и не требовало комментариев; впрочем, если бы в них и возникла нужда, Лакруа и Дантон взяли бы их дать. Они немедленно отправились обнародовать непреложную волю Конвента. Остальное было уже простой формальностью[11].

V

Первый акт комедии, которой предстояло разыграться, был не наименее любопытным. Пресловутые комиссары исполнительной власти собрались 3 февраля в Брюсселе и с важностью обсуждали вопрос о том, следует ли присоединить Бельгию к Франции. Нужно ли говорить, что они единогласно решили этот вопрос утвердительно? Они заявили, что для достижения этого результата надлежит сначала употребить силу разума, трогательные внушения человеколюбия, затем все средства революционной тактики и, наконец, если население окажет пассивное сопротивление, воспользоваться правом завоевания, ставшим впервые справедливым и полезным, то есть развернуть аппарат национальной силы, чтобы удалить от первичных собраний всякую скандальную сцену[12].

Комиссары, договорившись об образе своих совместных действий, предложили каждому городу своего округа высказаться за или против присоединения к Франции. Нам кажется излишним рассказывать одну за другой сцены, происходившие в Монсе, Генте, Брюсселе, Луvene, Намюре и Остенде. Они представляют почти одни и те же эпизоды и приводят все к одинаковому итогу.

Французский генерал, командующий дивизией, приглашает граждан собраться в какой-нибудь церкви. Вооружённая сила окружает место собрания под предлогом защиты свободы голосования, а на деле — чтобы образумить непокорных[13]. Комиссар исполнительной власти открывает заседание речью, в которой восхваляет благодеяния французской конституции; большинство присутствующих, говорящих и понимающих лишь по-фламандски, не понимают из неё ни слова. Подставные лица вскоре прерывают оратора, громкими криками требуя немедленно перейти к голосованию. Криками утверждается состав бюро; все скопом приносят присягу, предписанную декретом от 15 декабря. Поимённого опроса не производится, никакого списка присутствующих не составляется. «Граждане, — говорит председатель, — вам надлежит выбрать между деспотическим и демократическим строем». Тотчас все руки поднимаются в пользу последнего. «Теперь вы должны заявить, желаете ли вы образовать отдельную нацию или присоединиться к Франции. Пусть те, кто желает присоединения, перейдут налево; те, кто держится противного мнения, — направо». Всё собрание устремляется в указанную сторону с единодушным криком: «Присоединение! Мы — французы!» Председатель спешит констатировать единогласие голосования и поздравить собрание; затем он добивается, чтобы его вместе с несколькими друзьями делегировали, за счёт города или провинции, отвезти в Конвент пожелание свободного народа. Своды церкви оглашаются пением Марсельезы. Клубисты, составляющие почти всё собрание, рассыпаются по кварталам города, заставляя освещать дома, звонить в колокола и устраивать народные увеселения[14].

Обратная сторона этих сцен происходила в большом числе деревень и даже небольших городов, куда военное начальство не могло послать войск. Делегаты французских комиссаров не имели там никакого успеха и вынуждены были поспешно бежать. В Ангьене, близ Брюсселя, пресловутый Шарль-без-рубахи был избит и оставлен замертво на площади.

В одном только городе Льеже, где, как было известно, большинство заранее благоприятствовало присоединению, дело прошло с большей правильностью и приличием. Но именно потому, что голосование происходило в условиях полной свободы, оно сопровождалось некоторыми важными оговорками. Их сформулировала сама муниципальная администрация. Хотя она состояла из самых решительных противников правительства прежнего епископа, она поставила условием присоединения: 1° чтобы одновременно с возмещениями льежцам, некогда пострадавшим за дело свободы, были назначены возмещения и членам духовенства, чьи должности будут упразднены; 2° чтобы принудительному курсу не придавалось обратной силы, то есть чтобы при погашении долгов, заключённых между льежцами, и при выкупе рент, установленных до присоединения, частных лиц нельзя было принуждать принимать по номиналу эту бумажную монету, уже столь сильно обесцененную[15].

Как только оговорки города Льежа стали известны комиссарам Конвента, они разразились постановлением, объявлявшим это голосование недействительным и несостоявшимся, поскольку оно содержало условия оскорбительные и неприемлемые.

VI

Вопрос об ассигнатах, естественно, весьма занимал инициаторов декретов от 15 декабря и 31 января; они рассчитывали на Бельгию и Льежскую землю, чтобы поглотить там значительное их количество, как только принудительный курс будет законно установлен. Разве в одном недавнем случае Камбон не сравнил государственные имущества и представляющие их бумажные деньги с манной в пустыне, которую надлежало накормить бельгийский народ, чтобы привить ему вкус к свободе?[16]

Именно этот вопрос о принудительном курсе, соединённый с вопросом о секвестре церковных имуществ, совершенно изменил расположение бельгийцев к нам. Восторженные и почти всеобщие симпатии, некогда встретившие французов, быстро сменились подозрениями и ненавистью у этого народа, в высшей степени католического и в высшей степени расчётливого. Когда каждый фабрикант, торговец, буржуа или крестьянин, — ибо в этой стране все или почти все делают сбережения, — подсчитал огромную потерю, которую он понесёт в своём достоянии, если французские бумажные деньги будут приниматься по номиналу; когда в каждой провинции увидели, как комиссары Республики налагают секвестр на имущества монастырей и религиозных общин, накладывают печати на ризницы, хранящие сокровища церквей и богослужебные украшения, — массы начали жалеть об австрийском правлении, которое за несколько месяцев до того объявляли невыносимым. Впрочем, и поведение агентов всех рангов и всех разрядов, представлявших Республику, не располагало к любви к ней. От Дантона и Лакруа с их распущенными нравами и циничным языком до Камю, чья янсенистская суровость рукоплескала ограблению церквей, ибо он видел в нём возвращение к простоте первых веков христианства; от главного комиссара-распорядителя Ронсена, чья якобинская грубость соединялась с самой неистовой алчностью, до литератора Публиколы Шоссара, чей педантизм уступал лишь его глупости, — все вызывали самое живое негодование и отвращение.

Поэтому, когда Дюмурье вернулся из Парижа в последних числах января, он нашёл положение сильно ухудшившимся. Он быстро понял, что уже не может рассчитывать на добрую волю бельгийского народа для доставления ему продовольствия и людей, и что необходимо во что бы то ни стало перенести театр военных действий в Голландию, где можно было найти в изобилии боевые припасы, съестные припасы и, главное, звонкую монету, которой ему совершенно не доставало для жалования солдатам.

Сношения, которые он в течение месяца имел с вождями обеих партий, разделявших Конвент, доказали ему невозможность договориться ни с той, ни с другой для осуществления замыслов, которые он вынашивал в голове.

Он был полон решимости взять на себя роль Монка и восстановить во Франции монархию, но монархию конституционную. Он хотел избежать опоры как на эмигрантов, так и на

якобинцев; он окружал и тех и других одинаковым недоверием и одинаково исключал их. Он чувствовал, что прежде всего должен нанести мощный удар, который поразили бы его врагов и заставил бы их умолкнуть, вернув ему безграничное доверие его армии.

Этой цели он жертвует тем, что предписывает самая обыкновенная осторожность. Он знает наверняка, что австрийцы и пруссаки собирают на Рейне многочисленные войска, и однако весьма мало заботится о наблюдении за своими слишком разбросанными квартирами и об их уплотнении. Он довольствуется тем, что посылает своим лейтенантам, командующим на линии Мааса и в Ахене, инструкции, которые должны дать им предчувствие его скорого прибытия, а сам водворяется в Антверпене, чтобы наблюдать за последними приготовлениями к голландской экспедиции. Чтобы обмануть друзей и врагов относительно своих намерений, он не вызывает к себе даже свои лучшие войска и лучших офицеров; он пускается в рискованное предприятие с несколькими корпусами нового формирования и с генералами, ещё не доказавшими своих способностей. К счастью, при нём находится Дарсон, лучший инженер того времени, которого преследования якобинского принца Карла Гессенского заставили бежать из Безансона и который явился искать убежища и безопасности в рядах Северной армии[17].

Дюмуре не скрывает от себя трудностей экспедиции. В самом деле, речь шла ни более ни менее, как он говорит в своих мемуарах, о том, чтобы провести французскую армию сквозь игольное ушко. Тем временем часть его войск должна была под началом Валанса удерживать Ахен и наблюдать за движениями неприятеля, другая часть — под началом Миранды осаждать Маастрихт и Нимвеген. Правильно взять эти две крепости с теми средствами и в то короткое время, какими располагали, было невозможно; главнокомандующий надеялся, что гарнизоны капитулируют при первой угрозе бомбардировки. Не заботясь особенно о том, могут ли его приказы быть исполнены или нет, он переходит голландскую границу с тринадцатью тысячами человек, блокирует несколько крепостей и устремляется к Мурдейку, надеясь найти там достаточное число понтонных судов для переправы своих войск на другую сторону этого морского рукава. Он рассчитывает, что судьба, уже шесть месяцев столь благосклонная к его оружию, совершит для него ещё одно чудо — что внезапный мороз укрепит под его шагами воды рек и каналов Голландии. Но этому чуду суждено было совершиться лишь три года спустя в пользу другого генерала Республики, Пишегрю, которому было предназначено захватить флот Текселя с несколькими эскадрами кавалерии.

Вскоре Дюмуре видит себя обманутым в своих надеждах. Его авангард сумел захватить лишь несколько судов; все прочие были отведены на другую сторону Мурдейка и поставлены под защиту кораблей береговой охраны. Приходится собирать другие перевозочные средства, теряется много времени. Тем временем, благодаря Дарсону, Дюмуре овладевает двумя важными крепостями — Бредой и Гертрёйденбергом — и готовится превратить в методическую войну ту скачку с препятствиями, в которую он пустился.

VII

Весть о вступлении французской армии в Голландию встречается единодушными рукоплесканиями Конвента. Собрание пользуется этим случаем, чтобы сделать перед лицом Европы новую декларацию принципов.

Декрет от 2 марта, хотя и обращённый специально к батавскому народу, в действительности предназначен дать знать всем нациям, чего они должны ожидать от Республики. Конвент объявляет в нём: 1° что, всегда верный принципу суверенитета народа, он не признаёт никаких конституций, посягающих на него; 2° что при отсутствии органов власти, исходящих от народа, всякая революция нуждается во временной власти, которая заменила бы узурпированные власти, направляла бы возродительное движение и предупреждала анархию и беспорядок; 3° что французская нация, первая в Европе осмелившаяся провозгласить права человека, одна может действительно взять на себя временное осуществление этой революционной власти в странах, куда преследование врагов свободы и равенства привело её армии; что эта власть,

пока народ не выразил своей воли, может быть вверена лишь начальникам французской армии. Вследствие этого она поручает генералам в момент вступления в Голландию объявить всем жителям, что Республика несёт им мир, помощь, братство, свободу и равенство; что они освобождаются от всех присяг по отношению к штатгальтеру; что те, кто стал бы считать себя связанными своими присягами, будут в силу этого самого сочтены приверженцами деспотизма, следовательно, врагами французского народа, и с ними будет поступлено как с таковыми со всей строгостью законов войны. Она предписывает далее гражданским и военным властям: 1° взять под охрану и покровительство Французской республики, то есть под секвестр, все движимые и недвижимые имущества, принадлежащие фиску, штатгальтеру, его приспешникам, приверженцам и добровольным пособникам, общественным заведениям, светским и духовным корпорациям и общинам; 2° арестовать всех французских эмигрантов, укрывшихся на батавской территории, и выслать в страны, сопредельные с Голландией, всех лиц, которые были выдворены с французской территории.

Декрет заканчивается так:

«Французская нация объявляет, что будет обращаться как с врагами с народами, которые, отказываясь от свободы и равенства или отрекаясь от них, пожелали бы сохранить, призвать обратно или вести переговоры с тиранами, которые ими правили, или с их сообщниками и привилегированными кастами. Она возобновляет также торжественное обещание, данное ею, не складывать оружия до утверждения суверенитета и независимости народа, на территорию которого вступили войска Французской республики и который принял принципы равенства и установил свободное и народное правительство».

Камбон признал ошибку, совершённую им декретом от 15 декабря, когда он отменил все налоги во вновь завоёванных странах и тем лишил себя значительных ресурсов, которыми не следовало пренебрегать при той нужде, в какой находилось казначейство. Поэтому декрет от 2 марта объявляет, что все налоги, существующие в Голландии, сохраняются впредь до нового распоряжения, за исключением тех, что обременяют хлеб и пиво.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.